

ОТ АВТОРА РОМАНА “ДЕТИ ПОЛУНОЧИ”,
ТРИЖДЫ УДОСТОЕННОГО ПРЕМИИ “БУКЕР”

САЛМАН

❖ РУШДИ ❖

ДВА ГОДА,
ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ
И ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
НОЧЕЙ

CoRpus



Салман Рушди

**Два года, восемь месяцев
и двадцать восемь ночей**

«АСТ»

2015

УДК 821.111(410)-31
ББК 84(4Вел)-44

Рушди С.

Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей / С. Рушди —
«АСТ», 2015

ISBN 978-5-17-160278-9

Это и сказка, и притча, и сатира. История о недалеком будущем, о так называемых небывалостях, которые начинают происходить в Нью-Йорке и окрестностях, о любви джиннии к обычному мужчине, о их потомстве, оставшемся на Земле, о войне между темными и светлыми силами, которая длилась тысячу и один день. Салман Рушди состязается в умении рассказывать истории с Шахерезадой, которой это искусство помогло избежать смерти.

УДК 821.111(410)-31
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-160278-9

© Рушди С., 2015
© АСТ, 2015

Содержание

Дети Ибн Рушда	8
Мистер Джеронимо	15
Непоследовательность философов	33
Небывалости	37
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Салман Рушди
Два года, восемь месяцев
и двадцать восемь ночей

Salman Rushdie

TWO YEARS, EIGHT MONTHS AND TWENTY EIGHT NIGHTS

© Salman Rushdie, 2015

All Rights Reserved

© Л. Сумм, перевод на русский язык, 2017

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Издательство CORPUS ®

* * *

Посвящается Кэролайн



El sueño de la razón produce monstruos
Сон разума рождает чудовищ

(Франсиско Гойя, *Los Caprichos*, № 43. Полностью надпись на гравюре в Прадо гласит: «Фантазия, оставленная разумом, порождает немыслимых чудовищ, а в соединении с ним становится матерью искусств и источником их чудес».)

Невозможно «верить» в волшебные сказки. В них нет богословия, корпуса догм, ритуалов, институтов, обязательных форм поведения. Они говорят нам об изменчивости и неожиданности мира.

Джордж Сиртеш

Вместо того, чтобы работать над книгой, которую мне следовало написать, над романом, которого от меня ждали, я вызвал из небытия ту книгу, что сам хотел бы прочесть – словно повесть неведомого автора, из иной эпохи и страны, обнаруженную на чердаке.

Итало Кальвино

*И Шахразад ухватило утро, и она прекратила дозволенные речи.
«Тысяча и одна ночь»¹*

¹ Перевод М. Салье.

Дети Ибн Рушда

Очень мало известно (хотя многое было написано) о подлинной природе джиннов, существ, которые состоят из бездымного пламени. Добра их натура или зла, ближе к бесам или к благим духам – все это вызывает жаростные споры. Но вот в чем в целом удалось достичь согласия: джинны своевольны, капризны и развратны; они перемещаются на огромной скорости, умеют менять размеры и формы тела и исполняют многие желания смертных людей, если сами того пожелают или будут к этому принуждены; их чувство времени принципиально отличается от такового у детей Земли. Их не следует путать с ангелами, хотя некоторые старинные истории ошибочно утверждают, будто величайшим из джиннов был сам Дьявол, падший ангел Люцифер, сын утренней зари. Долгое время спорили и о местах обитания джиннов. В некоторых старинных историях клеветнически утверждалось, будто джинны живут среди нас, здесь, на Земле, в так называемом «нижнем мире», в разрушенных зданиях и прочих нездоровых и мрачных местах – на помойках и кладбищах, в уличных туалетах, сточных канавах, навозных кучах. В этих уничижительных рассказах людям советуют мыться как следует после каждого контакта с джиннами – они, дескать, вонючи и разносят заразу. Однако самые достойные исследователи давно установили то, что ныне мы считаем истиной: джинны живут в собственном мире, отделенном от нашего плотной завесой, и этот высший мир, Перистан, он же Волшебная страна, весьма просторен, хотя и скрыт от нас.

Упомянуть очевидное – что джинны по своей природе отличаются от людей – кажется излишним, однако у нас есть общие с нашими фантастическими двойниками свойства. Например, в вопросах веры: среди джиннов найдутся приверженцы любой известной на земле религиозной системы, и есть джинны вовсе неверующие, которым всякое представление о богах и ангелах столь же чуждо, как сами джинны чужды людям. И хотя многие джинны аморальны, по крайней мере некоторые из этих могущественных существ сознают разницу между добром и злом, между правой рукой и левой.

Некоторые джинны умеют летать, а другие ползают подобно змеям или носятся в образе огромных псов, рыча и обнажая клыки. В море, а порой и в воздухе, они принимают облик драконов. Некоторые из низших джиннов, оказавшись на Земле, не могут долго поддерживать принятую форму. Эти аморфные существа порой заползают в человека через ухо, нос или глаз и на какое-то время вселяются в него, а наскучив этим телом, сбрасывают его – люди, подвергшиеся такой операции, к сожалению, не имеют шансов выжить.

Джинны женского пола – джиннии, джинири – еще более таинственны и тонки, их еще труднее постичь, ибо это женщины-тени, состоящие из дыма без огня. Существуют свирепые джиннии и джиннии любви, но вполне вероятно, что обе эти разновидности джинний на самом деле одна: свирепый дух укрощается любовью или существо любящее из-за дурного обращения падает в ярость, непостижимую для смертных мужчин.

Итак, вот история джиннии, великой принцессы джиннов, прославленной как Принцесса Молний, ибо она повелевала грозой; история о том, как много столетий назад, по нашему счету – в XII веке, она полюбила смертного мужчину, рассказ о ее многочисленных потомках и о том, как после долгого отсутствия она вернулась на Землю и вновь полюбила лишь на миг, а затем началась война. Это история о множестве других джиннов, мужского пола и женского, летающих и ползающих, добрых, злых и безразличных в вопросах морали, и о поре кризиса, когда распалась связь времен, о той эпохе, что мы называем временем небывалостей, длившейся два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей, то есть ровно тысячу одну ночь. Да, с тех пор мы прожили еще тысячу лет, но та эпоха навеки преобразила человечество. К добру или к худу – судить нашему будущему.

В 1195 году великий философ Ибн Рушд, бывший кади, то есть судья, Севильи, до последнего времени занимавший должность личного врача халифа Абу Юсуфа Якуба в своем родном городе Кордове, был официально лишен и доверия, и милости правителя за либеральные идеи, неприемлемые для набиравших силу берберских фанатиков, которые словно чума расползались по арабской Испании. Философа сослали в маленькую Люцену поблизости от его родного города, в деревню, где жили евреи, которые не могли больше называть себя евреями, поскольку при предыдущей династии, правившей в Андалусии, при Альморавидах, их заставили принять ислам. Ибн Рушд, философ, который не был больше философом, ибо все его писания были запрещены и книги сожжены, сразу же почувствовал себя как дома среди евреев, не смевших называть себя евреями. Он побывал в фаворитах у калифа из новой династии Альмохадов, но фавориты могут выйти из моды, и вот Абу Юсуф Якуб позволил фанатикам изгнать великого комментатора Аристотеля из столицы.

Философ, не смевший говорить о своей философии, обитал на узкой немощеной улице, в маленьком доме с узкими окнами, и отсутствие света его угнетало. В Люцене он открыл медицинскую практику, и слава бывшего врача самого халифа привлекла пациентов; кроме того, он пустил в ход свои сбережения и начал помаленьку торговать лошадьми, а также вложил средства в изготовление крупных глиняных сосудов, *тинах*, в которых евреи, переставшие быть евреями, хранили и продавали оливковое масло и вино. Однажды, вскоре после того, как началось его изгнание, девушка примерно шестнадцати лет появилась на пороге его дома: она кротко улыбалась, не стучала в дверь, не мешала ходу его мыслей, стояла неподвижно и терпеливо ждала, когда он соизволит заметить ее присутствие и пригласит войти. Она сказала, что недавно осиротела и средств к существованию не имеет, но не хотела бы работать в борделе, а звать ее Дунья – на слух не еврейское имя, однако еврейское, дескать, вслух называть запрещено, а написать его она не умела, поскольку не знала грамоты. Дуньей, сказала она, ее назвал проезжий человек, который пояснил, что это слово по-гречески означает «мир», и ей эта идея понравилась. Ибн Рушд, переводчик Аристотеля, не стал препираться с ней: он знал, что это слово означает «мир» на многих языках и педантизм тут неуместен.

– Почему ты назвалась «миром»? – спросил он, и она ответила, глядя ему прямо в глаза:

– Потому что целый мир произойдет от меня и те, кто родятся от меня, распространятся по всей земле.

Как человек сугубо рациональный, он не заподозрил в ней сверхъестественное существо, джиннию, то есть представительницу племени джиннов, великую принцессу этого племени, пустившуюся в земное путешествие, ибо она была очарована смертными людьми – всеми и в особенности мужчинами выдающегося ума. Он принял ее в свой домик на правах экономки и любовницы, и в ночной глуши она шепнула ему свое «истинное» – на самом деле подложное – еврейское имя, и оно осталось их тайной. Дунья, принцесса джиннов, оказалась неслыханно плодovitа, как и предвещало пророчество. За последующие два года, восемь месяцев и двадцать восемь дней и ночей она трижды была беременна и каждый раз рожала множество близнецов, по меньшей мере семь зараз, а однажды одиннадцать, если не девятнадцать – в этом вопросе сообщения уклончивы и противоречивы. Все дети унаследовали самую заметную черту своей матери: уши без мочек.

Будь Ибн Рушд посвящен в оккультные знания, он бы догадался, что его дети рождены не от женщины, однако он был слишком занят собой, чтобы это сообразить. (Иногда мы думаем, как повезло и ему, и всей истории человечества, что Дунья влюбилась в блистательный ум этого человека, ведь его эгоистичный характер едва ли мог внушить любовь.) Философ, которому было запрещено философствовать, опасался, не унаследуют ли дети от него те горестные дары, что были его наградой и проклятием, не окажутся ли они «слишком тонкокожими, дальнорзоркими и свободными на язык, – вздыхал он, – то есть не будут ли чувствовать все слишком остро, видеть слишком ясно, высказываться чересчур откровенно. Это сделает их уязвимыми в

мире, который возомнил себя неуязвимым, они будут осознавать его изменчивость, когда мир станет утверждать, будто он неизменен, предвосхищать грядущее раньше других, видеть, как будущее, этот варварский захватчик, проламывает ворота настоящего, пока все еще цепляются за пустоту прошлого. Если нашим детям посчастливится, они унаследуют только твои уши, но поскольку они, бесспорно, также и мои, должно быть, они будут слишком быстро соображать и слишком рано улавливать – в том числе и то, что запрещено для мысли и слуха».

«Расскажи мне историю», – частенько просила Дунья в постели на первых порах их совместной жизни. Философ вскоре выяснил: вопреки своему юному облику девица весьма требовательна и пристрастна, и в постели, и не только в постели. Он был крупным мужчиной, а она – словно птичка или жук-палочник, но часто он чувствовал, что она сильнее. Она стала отрадой его преклонных лет, но взамен требовала от возлюбленного таких проявлений энергии, которые давались ему с трудом. В его-то возрасте порой единственным желанием, оказавшись в постели, было поспать, однако Дунья воспринимала попытки вздремнуть как личную обиду. «Если всю ночь бодрствовать, занимаясь любовью, – говорила она, – отдохнешь лучше, чем если храпеть часами напролет, словно вол. Это всем известно». В его-то возрасте не всегда удавалось быстро достичь состояния, необходимого для сексуального акта, особенно из ночи в ночь, но опять же Дунья воспринимала его проблемы с эрекцией как доказательство нелюбви. «Когда женщина кажется привлекательной, никаких затруднений не бывает, – твердила она. – Сколько угодно ночей подряд». В итоге, обнаружив, что ее физический пыл можно утолить рассказом, старый философ получил некоторое послабление. «Расскажи мне историю», – просила она, сворачиваясь у него подмышкой так, чтобы его ладонь накрывала ей голову, и он думал: отлично, на сегодня я свободен, и принимался мало-помалу открывать ей историю своего разума. Он пускал в ход слова, шокировавшие многих современников: «разум», «логика», «наука», ибо это были три столпа его мысли, те самые идеи, за которые его книги в итоге и были сожжены. Дунья пугалась этих слов, но страх действовал возбуждающе, и она прижималась крепче, умолая: «Держи мою голову, покуда наполняешь ее своими выдумками».

В нем зияла глубокая, тяжкая рана, ибо он потерпел поражение, проиграл главную в своей жизни битву мертвому персу, Газали из Туса, противнику, который был уже восемьдесят пять лет как мертв. Сотней лет раньше Газали написал книгу «Непоследовательность философов», в которой разгромил греческих мыслителей, Аристотеля, неоплатоников и их поклонников, великих предтеч Ибн Рушда – Ибн Сину и Аль-Фараби. В какой-то момент Газали настиг кризис веры, но, оправившись, он превратился в величайший бич философов за всю мировую историю. Философия, насмехался он, не способна доказать существование Бога или хотя бы доказать, что не может быть двух богов. Философия верит в цепь причин и следствий, умаляя тем самым власть Бога, который с легкостью может вмешаться и изменить следствия, лишит причину всякой силы, если того пожелает.

– Что произойдет, – вопрошал Ибн Рушд Дунью, когда ночь окутывала их молчанием и они могли говорить о запрещенном, – что произойдет, если поднести к комку шерсти горящий прут?

– Разумеется, шерсть загорится, – отвечала она.

– А почему она загорится?

– Потому что так устроено, – отвечала она. – Огонь лижет шерсть, и шерсть приобщается к огню – так устроен мир.

– Закон природы, – говорил он. – Причины и следствия.

И она кивала головой из-под его ласковой руки.

– Он оспорил это, – говорил Ибн Рушд, и она понимала: «он» – это Газали, тот, кто взял верх. – Он заявил, что шерсть загорается по воле Бога. Потому что во Вселенной, созданной Богом, единственный закон – Его воля.

– Значит, если бы Бог захотел, чтобы шерсть погасила пламя, чтобы огонь стал частицей шерсти, Он мог бы сделать так?

– Да, – говорил Ибн Рушд. – У Газали в книге написано, что Бог мог бы сделать так.

Она призадумалась на миг.

– Это глупо, – решила наконец.

Даже в темноте она почувствовала его сдержанную улыбку, улыбку разочарования и боли, перекосившую бородатое лицо.

– Он бы назвал это истинной верой, – сообщил Ибн Рушд, – и сказал, что спорить с этим... непоследовательно.

– Значит, случиться может все что угодно, если Бог сочтет это правильным, – сказала она. – Например, стопы человека оторвутся от земли, и он будет расхаживать по воздуху.

– Чудо, – пояснил Ибн Рушд, – происходит, когда Бог всего лишь меняет правила, которые Он сам и устанавливает, а мы не можем этого понять, потому что Бог неумопостижаем, то есть – за пределами нашего познания.

Она снова примолкла.

– Допустим, я допущу, – заговорила она после паузы, – что Бог может не существовать. Допустим, ты убедишь меня допустить, что «разум», «логика» и «наука» обладают магией, благодаря которой необходимость в Боге отпадает. Можно ли хотя бы допустить, что подобное допустимо?

Она почувствовала, как он напрягся всем телом. Теперь *он* напуган *ее* словами, отметила она, и странным образом ей это было приятно.

– Нет! – слишком резко оборвал он. – Это было бы крайне глупое допущение.

Он написал собственную книгу, «Непоследовательность непоследовательности», в которой через сто лет и тысячу миль пытался поспорить с Газали, но несмотря на бойкий заголовок, эта книга так и не сумела подорвать влияние покойного перса, и в итоге сам Ибн Рушд был опозорен, его книги сожгли, и огонь пожрал их страницы, потому что в тот момент Богу благоугодно было разрешить это огню. В своих трудах он всегда старался примирить слова «разум» и «логика» со словами «Бог», «вера» и «Коран», но не преуспел, хотя весьма тонко использовал аргумент милосердия, демонстрируя цитатами из Корана, что Бог должен существовать, поскольку Он предоставил человечеству сад радостей земных, *и разве нам не посылается из облаков дождь, вода, текущая в изобилии, чтобы растить зерно и травы и сады, густые от деревьев?* Он сам был увлеченный садовод-любитель, и аргумент милосердия, казалось ему, подтверждает разом и существование Бога, и Его благодать и доброту, но сторонники жестокого Бога побили его. И теперь он возлежал, как он думал, с обращенной еврейкой, спасенной от борделя, которая, казалось, умела проникать в его сны, где он сражался с Газали на языке непримиримых, на языке сердечной откровенности, во сне он шел до конца – посмей он произнести подобные слова наяву, его бы предали в руки палача.

А Дунья наполнялась детьми и опрастывалась в маленьком доме, где оставалось все меньше места для той «лжи», за которую Ибн Рушд был отправлен в ссылку, минуты близости между ним и Дуньей становились реже, и не хватало денег. «Настоящий мужчина принимает последствия своих действий, – твердила она – тем более, если верит в причины и следствия». Но он никогда не был силен по части зарабатывания денег. Торговля лошадьми – занятие опасное, тут всегда полно головорезов, и доходы философа были ничтожны. На рынке *тинах* множество конкурентов, а значит, низкие цены. «Бери больше с пациентов! – раздраженно советовала она. – Обрати в деньги свою прежнюю репутацию, пусть и подмоченную. Больше ведь у тебя ничего нет. А быть производящим детей чудищем – этого недостаточно. Делаешь детей, дети рождаются, детей нужно кормить. Вот тебе „логика“, – уж она-то знала, какие слова бросить против него. – А поступать иначе, – с торжеством заключала она, – и есть „непоследовательность“».

(Джинны обожают все блестящее: золото, драгоценные камни и так далее, накапливают огромные сокровища в подземных пещерах. Почему же принцесса джинов не воскликнула «Откройся» у двери такой пещеры и не решила одним махом все финансовые проблемы? Потому что она избрала человеческую жизнь, решила жить в союзе с женщиной, как «человеческая» жена человека, и этот выбор сковывал ее. Открыть возлюбленному истинную свою природу с таким запозданием означало признать, что в основе их отношений – своего рода предательство или ложь. И потому она хранила молчание, боясь, что он может ее отвергнуть. В конце концов он все равно ее оставил, по собственным вполне человеческим соображениям.)

А еще была персидская книга *Hazar Afsaneh*, то есть «Тысяча историй», которую перевели на арабский. В арабском переводе историй оказалось меньше тысячи, но зато действие растянулось на тысячу ночей, вернее, поскольку круглые числа считались уродливыми, на тысячу и еще одну ночь. Самой книги Ибн Рушд не видел, но кое-какие истории из нее слышал при дворе. История о рыбаке и джинне понравилась ему не столько волшебными деталями (джинн из лампы, чудесные говорящие рыбы, заколдованный принц, наполовину человек, наполовину мраморная статуя), сколько технической изощренностью, тем, как истории вкладывались в другие истории и хранили внутри себя третьи, так что рассказ превращается в подлинное зеркало жизни, размышлял Ибн Рушд, где любая твоя история содержит в себе истории других людей и сама входит в более длинные и значимые нарративы, в историю семьи, или страны, или веры. И еще прекраснее, чем эти истории внутри историй, оказалась история самой рассказчицы, принцессы Шахрезады, которая рассказывала сказки своему кровожадному мужу, чтобы не быть наутро казненной. Истории, которые рассказываются, чтобы отвратить смерть, чтобы цивилизовать варвара. А в ногах супружеской постели сидела сестра Шахрезады, идеальная слушательница, и просила рассказать еще историю, и еще одну, и еще. По имени этой сестры Ибн Рушд нарек орды младенцев, изшедшие из чрева возлюбленной Дуньи, ибо сестру звали Дуньязад, «а мой дом, где не хватает света, наполняет до самой крыши и принуждает меня требовать несоразмерной платы с пациентов, с больных и страждущих Люцены, *Дунья-зат*, то есть племя Дуньи, раса дунийцев, народ Дуньи, что в переводе означает „народ мира“».

Дунью эти слова глубоко задел.

– Хочешь сказать, – заговорила она, – что поскольку мы не состоим в браке, наши дети не получают отцовское имя?

Он улыбнулся, как всегда, печально и криво:

– Лучше им зваться Дуньязат, – ответил он, – это имя содержит в себе мир и не было осуждено миром. Если станут Рушди, от века будут мечены клеймом на челе.

С тех пор она стала рассуждать о себе как о сестре Шахрезады, которая все время просила еще историй, вот только ее Шахрезадой оказался мужчина, возлюбленный, а не родич, и за некоторые из его историй их обоих казнили бы, если б слова просочились наружу из темноты спальни. Так что он – Шахрезада наизуворот, говорила ему Дунья, полная противоположность рассказчицы из «Тысячи и одной ночи»: та историями спасалась, а он подвергает свою жизнь опасности. Но когда халиф Абу Юсуф Якуб выиграл войну, одержав величайшую победу над христианским королем Кастилии Альфонсо VIII у Аларкоса, на реке Гвадиана, в которой его войска перебили 150 тысяч кастильских солдат, почти половину христианской армии, халиф принял титул Аль-Мансур, Победоносный, и с уверенностью героя-завоевателя положил конец могуществу фанатичных берберов и вернул ко двору Ибн Рушда.

Клеймо позора было стерто с чела старого философа, ссылка закончилась, он был реабилитирован, освобожден от позора и с почестями возвращен на прежнюю должность придворного врача в Кордове – через два года, восемь месяцев и двадцать восемь дней и ночей после начала ссылки, то есть на тысяча первый день. Дунья была, разумеется, снова беременна, и он, разумеется, не женился на ней, не дал, разумеется, детям свое имя и, разумеется, не взял

ее с собой ко двору Альмохадов, так что она выпала из этой истории, которую философ, уезжая, забрал с собой, прихватив заодно свои халаты, булькающие реторты, манускрипты, иные в переплете, иные свитками – все это были рукописи чужих книг, поскольку его собственная была сожжена, хотя сохранилось множество копий, как он говорил Дунье, в других городах, в библиотеках друзей и там, где он заранее спрятал их на случай, если его постигнет черный день, ибо мудрый человек готовится к злосчастью, а вот благая фортуна, если человек, как подобает, скромн, застигает врасплох. Он уехал, не доев завтрак и не попрощавшись, и Дунья не угрожала ему, не раскрыла истинную свою сущность и скрытую силу, не сказала: «Я знаю, о чем ты болтаешь вслух во сне, когда допускаешь то, что, по твоим же словам, нельзя допускать, когда не пытаешься более примирить непримиримое и высказываешь страшную, роковую истину». Она позволила, чтобы история ушла и покинула ее, не пыталась удержать, как дети позволяют грандиозному шествию пройти мимо, удерживая его только в памяти, превращая в нечто незабываемое, навеки свое – так и она продолжала любить философа, хотя он с такой небрежностью ее покинул. Ты был всем для меня, хотела бы она ему сказать, ты был моим солнцем и луной, и кто же теперь положит руку мне на голову, кто будет целовать в губы, кто будет отцом нашим детям. Но он был великим человеком, и залы бессмертных ожидали его, а вопящая ребятня – всего лишь балласт, сброшенный на ходу с палубы.

Однажды, шептала она отсутствующему, однажды, когда ты давно уже будешь мертв, наступит миг и ты захочешь признать свое потомство, и тогда я, твоя жена-джинния, исполню твое желание, хоть ты и разбил мне сердце.

Считается, что она еще какое-то время оставалась среди людей, возможно, вопреки всему надеясь на его возвращение, а он посылал ей деньги и, быть может, изредка навещал; она отказалась от торговли лошадьми, но продолжала вкладывать деньги в *тинахи*, однако солнце и луна этой истории зашли над ее домом, и ее история превратилась сплошь в тайны и тени, так что, может быть, люди правду говорят – дескать, после смерти Ибн Рушда его призрак вернулся и зачал с ней новых детей. Говорили также, что Ибн Рушд подарил ей лампу, внутри которой находился джинн, и джинн-то и стал отцом тех детей, что родились уже после его отъезда – вот видите, как легко молва переворачивает все с ног на голову! А еще говорили недоброе: мол, одинокая женщина впускала в дом любого, кто готов был платить за крышу над головой, и от каждого съемщика снова рожала, так что Дуньязат, потомки Дуньи, уже не были незаконными Рушди (по крайней мере, часть их или даже значительная часть или даже большая), и в глазах большинства жизнь Дуньи превратилась в пунктир, заикающиеся расплывшиеся до бессмысленных очертаний буквы, из которых не извлечь, ни сколько она еще прожила, ни как, ни где, ни с кем, ни когда и как умерла – если умерла.

Никто не заметил – да и внимания не обратил – как в один прекрасный день она повернулась боком, проскользнула сквозь щель между мирами и вернулась в Перистан, в другую реальность, в мир снов, откуда джинны порой выходят тревожить человечество или ему благодетельствовать. На взгляд жителей Люцены она попросту растворилась, возможно – в дыме без пламени. После того как Дунья покинула наш мир, число путешественников со стороны джиннов к нам сократилось, потом они долгое время не появлялись вовсе, и щели между мирами зарастали ничего не говорящими воображению сорняками условностей и колючками скучного материализма, пока не сомкнулись полностью, и тогда наши предки были предоставлены самим себе – творите, что сможете, без преимуществ и проклятия волшебства.

Потомство же Дуньи процветало. Это мы вполне можем утверждать. Спустя без малого триста лет, когда евреи были изгнаны из Испании – даже те евреи, которые не смели называть себя евреями, – потомки потомков Дуньи взошли на корабли в Кадисе и Палос-де-Могер, или пешком перешли Пиренеи, или полетели на коврах-самолетах и в гигантских урнах, как родичи джиннов, они пересекали материки и переплывали семь морей, поднимались на высокие горы

и спускались в глубокие долины и находили приют и убежище всюду, куда бы ни пришли, и они быстро позабыли друг друга, а может быть, помнили, пока могли, а потом забыли, или никогда не забывали и сделались семьей, которая уже не была единой семьей, племенем, которое нельзя было назвать племенем, они принимали всякую религию и не принимали никакой, многие из них, спустя столетия после обращения, не ведая о своем сверхъестественном происхождении, забыв историю о насильственном крещении евреев, сделались ревностными католиками, а другие – презрительными атеистами; это была семья без дома, но обретавшая дом повсюду, деревня, не обозначенная на карте, но переносившаяся с места на место, как растения без корней, мох, лишайник или ползучие орхидеи, которые цепляются за других, поскольку не могут устоять сами.

История недобра к тем, от кого она отворачивается, но бывает столь же недобра и к тем, кто ее творит. Ибн Рушд умер (традиционно, от старости, по крайней мере насколько нам известно) по пути в Марракеш всего через год после реабилитации; ему не довелось узреть, как его слава растет и распространяется за пределами знакомого мира в страны неверных, где его комментарии к Аристотелю стали прологом к великой популярности этого могущественного праотца философов, легли в основу безбожной мудрости неверных – их *секулярной философии*: *saecularis* означает то, что возникает раз в сто лет (*saeculum*), в одну из мировых эпох, или же этот эпитет указывал, что идея годится на многие века², и сама эта философия была точным слепком и эхом тех идей, какие Ибн Рушд отваживался высказать лишь во сне. Быть может, сам Ибн Рушд, человек набожный, не порадовался бы месту, которое отвела ему история, ибо для верующего в самом деле странная судьба – вдохновить учения, обходящиеся без веры, и тем более странная судьба для философии – восторжествовать за пределами того мира, где жил философ, и быть уничтоженной в границах его мира, поскольку в том мире, какой был известен Ибн Рушду, умножились и унаследовали царство идейные потомки его покойного противника Газали, а собственные незаконные отпрыски, позабыв запретное имя отца, распространились по иным странам. Большое число уцелевших добралось до великого Северо-Американского континента, а многие другие обосновались на великом Юго-Азиатском субконтиненте в силу феномена «агрегации», то есть таинственной нелогичности случайного распределения; из этих многие распространялись далее на запад и юг обеих Америк, на север и запад из бриллианта у подножья Азии, и так попали во все страны мира, ибо Дуньязат отличались не только ушами без мочек, но и беспокойными ногами. А Ибн Рушд был мертв, однако мы увидим, как он и его противник продолжили свой спор в могиле, ибо нет пределов спорам великих мыслителей, спор сам по себе – орудие совершенствования мысли, острейший из инструментов, рожденный из любви к знанию, то есть философии.

² Автор напоминает основные значения слова *saecularis*, которые были утрачены при создании термина: «секулярное» противопоставлялось религиозному, как «век», то есть ограниченное земное время – вечности и «будущему веку».

Мистер Джеронимо

Восемьсот с лишним лет спустя, в трех с половиной тысячах миль от Люцены, и теперь уже более тысячи лет назад на город наших предков обрушилась буря, подобная бомбардировке. Их детство ушло под воду и было утрачено, набережные воспоминаний, где они когда-то лакомились сладостями и пищей, променады желаний, где они прятались от летнего солнца и впервые целовались в губы. Крыши срывались с домов и летели под ночным небом, точно вспугнутые летучие мыши, а чердаки, где хранится прошлое, были обнажены всем стихиям, и казалось: все, чем люди были до тех пор, пожрано предательским небом. В затопленных подвалах утонули их тайны, ничего больше не припомнить. Энергия покинула их: настала тьма.

Перед тем как отключилась электроэнергия, по телевизору показали кадры, снятые с небес: огромная белая спираль, кружась, опускалась, словно вторгшийся инопланетный корабль. Затем река хлынула в здание электростанции, деревья упали на электрокабель и на ангары, где хранились запасные генераторы, и разразился апокалипсис. Порвались канаты, привязывавшие наших предков к реальности, и когда стихии принялись завывать им в уши, нетрудно было поверить, что щели между мирами раскрылись вновь, печати сорваны и небеса полны хохочущих колдунов, сатанинских всадников, галопом скачущих на тучах.

Три дня и три ночи никто не разговаривал, внятен был только язык бури, а наши предки не умели говорить на этом жутком наречии. Наконец буря закончилась, и, словно дети, отказывающиеся верить, что их детство прошло, наши предки потребовали, чтобы все стало как прежде. Но свет хоть и вернулся, он стал другим. Белый свет, какого они прежде не видывали, жесткий, словно лампа в лицо на допросе, без теней, без жалости, от него не укрыться. Берегитесь, словно бы возвещал этот свет, я иду судить и испепелять.

Потом начались небывалости. На два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей.

Вот что дошло до нас, тысячу лет спустя, история, пропитанная или даже переполненная легендой. Вот как мы представляем себе это теперь, как ненадежное воспоминание или сон о далеком прошлом. Если это неправда или не совсем правда, если в хроники проникли вымышленные сюжеты, теперь уже ничего не поделаешь. Такова история наших предков в том виде, в каком мы предпочитаем ее рассказывать, и, значит, такова наша собственная история.

В среду после великой бури мистер Джеронимо впервые заметил, что его стопы не соприкасаются с землей. Он проснулся за час до рассвета, как обычно, полупомня странный сон, в котором женские губы прижимались к его груди, беззвучно бормотали. Нос у него был заложен, во рту пересохло, потому что ночью он дышал ртом, шея застыла из-за привычки подкладывать слишком много подушек, срочно требовалось почесать экзему на правой ноге. В целом – знакомые утренние неприятности, нет повода для нытья. И стопы как раз чувствовали себя превосходно. Большую часть жизни мистера Джеронимо донимали стопы, но сегодня они проявили снисходительность. Время от времени плоскостопие причиняло сильную боль, хотя он педантично выполнял упражнения, поджимая пальцы на ногах, перед тем, как лечь спать, и первым делом по пробуждении, и стельки носил, и по лестницам вверх-вниз ходил на цыпочках. Еще приходилось бороться с подагрой, а лекарства вызывали понос. Боль уходила и возвращалась, и он встречал ее стоически, утешаясь смолodu мыслью: зато с плоскостопием в армию не берут. Время солдатчины для мистера Джеронимо давно миновало, но мысль оставалась утешительной. А подагра и вовсе – болезнь королей.

В последнее время у него на пятках образовались толстые потрескавшиеся мозоли, требовавшие внимания, однако он захлопотался и до ортопеда пока не дошел. Ноги были ему нужны, он целый день на ногах проводил. Сейчас ноги получили пару дней отдыха, в такую

бурю садом не займешься, так что, подумал он, возможно, стопы решили отблагодарить его поутру, воздержавшись от жалоб. Он сбросил ноги с постели и встал. И тут что-то пошло не так. Он был на ощупь знаком с текстурой полированных деревянных половиц своей спальни, но в то утро, в среду, почему-то не ощутил их под ногами. Под ногами была непривычная мягкость, нестрашная пустота. Может быть, стопы сделались нечувствительны из-за наросших мозолей? Человек такого склада, немолодой человек, которому предстоит день трудной физической работы, подобными пустяками не заморачивается. Человек такого склада – большой, крепкий, сильный – отмахивается от пустяков и вперед, к делам нового дня.

Электричества по-прежнему не дали, воды совсем ничего, но к завтрашнему дню обещали и то, и другое. Мистер Джеронимо был чистоплотен, ему непременно требовалось почистить тщательно зубы, принять душ. Остатками воды из ванны он слил за собой унитаз (воду он набрал в запас сразу, как только началась буря). Надев рабочий комбинезон и бутсы, он пешком, мимо застрявшего лифта, отважно отправился вниз, на разоренную улицу. В шестьдесят с гаком, говорил он себе, достигнув возраста, когда большинство мужчин норовят улечься и ноги кверху, он остается все таким же крепким, активным. Жизнь, которую он выбрал в молодости, весьма этому поспособствовала. Он ушел прочь от отцовской церкви чудесных исцелений, от вопящих женщин, что соскакивают с инвалидных колясок, подхваченные Христовым чудом, и от архитектурной практики дяди, которая позволила бы ему провести бесконечные годы невидимкой, сидя за столом и рисуя не получившие признания мечты этого благодушного джентльмена, поэтажные планы разочарований, фрустраций, несбывшегося. Мистер Джеронимо отрекся и от Иисуса, и от чертежного стола и работал под открытым небом.

В зеленом грузовике-пикапе с надписью на бортах – *Мистер Джеронимо Садовник* плюс номер телефона и адрес сайта, желтые буквы с алыми тенями – он вдруг не почувствовал под собой сиденья: потрескавшаяся зеленая кожа, обычно уютно покалывавшая правую половинку задницы, сегодня своего дела не делала. Что-то с ним творилось неладное. Убывание чувств? Это настораживало. В его возрасте, учитывая избранное им поприще, приходилось следить за малейшими изменениями тела, разбираться с ними, чтобы предотвратить поджидающие в засаде измены похуже. Надо обратиться к врачу, но попозже: сейчас, после бури, все врачи, все больницы загружены более тяжелыми случаями. Педали газа и тормоза словно отделяла от его ботинок мягкая прокладка, приходилось давить сильнее обычного. Видимо, буря действовала на души и машин, а не только людей. Повсюду под разбитыми окнами вкривь и вкось валялись брошенные, отчаявшиеся автомобили, меланхолический автобус лежал на боку. Но главные магистрали расчистили, и мост Джорджа Вашингтона уже был открыт для проезда. Еще продолжались перебои с бензином, но у Джеронимо имелся запас, он прикинул, что продержаться сумеет. Такой он был человек – запасался топливом, противогазами, фонарями, аптечками, консервами, водой в легких упаковках; человек, всегда готовый к любым неожиданностям; человек, знающий, что ткань социума в любой момент способна разорваться и рассыпаться и тогда понадобится суперклей, чтобы удержать воедино лоскутья; человек, который считал, что людям не свойственно строить надежно и прочно. Он всегда ожидал худшего. К тому же был суеверен, то и дело скрещивал пальцы, чтобы отвести беду, знал, к примеру, что в Америке в деревьях селятся злые духи, и потому нужно стучать по дереву, чтобы их прогнать, а британские древесные духи (британские сельские пейзажи его восхищали), напротив, благодетельны, и потому люди там прикасаются к дереву, чтобы обеспечить себе заступничество. Такие вещи знать необходимо. Излишняя осторожность не повредит. Даже если уйдешь прочь от Бога, ссориться с Фортуной не захочешь.

Он приспособился к новым потребностям грузовика и поехал по восточной стороне острова, затем через только что открывшийся мост Дж. В. Конечно же радио у него было настроено на старомодный шансон. Вчерашний день прошел, вчерашний день миновал, пело старичье. Точный намек, подумал он. Вчерашний день миновал, а завтра не наступит никогда,

остается лишь сегодня. Река вернулась в обычное русло, но по берегам мистер Джеронимо всюду видел следы разрушения и черную грязь, затонувшее прошлое города проступало из-под черной грязи: трубы ушедших на дно речных пароходов перископами выглядывали из-под черной грязи, призрачные олдсмобили, недосчитывающиеся зубов, вросли в корку грязи на берегу, и тайны пострашнее, скелет легендарного Кипси – речного монстра и черепа убитых когда-то ирландцев – портовых грузчиков плавали в черной грязи, а из радиоприемника тоже доносились странные вести: из черной грязи выпучились валы индейского форта, и отсыревшие меха голландских купцов и тот самый ларец с побрякушками ценой в шестьдесят гульденов, за которые некий Петер Минуит купил холмистый остров у индейцев ленапе, выбросило волной возле парка Инвуд-Хилл, на северной оконечности Манхэттена, словно буря заявляла нашим предкам: к черту вас, я забираю остров себе.

Он пробирался по замусоренным бурей дорогам к Ла-Инкоэренца, поместью Блиссов. За городом буря еще круче разгулялась, молнии, подобные громадным кривым столбам, соединяли Ла-Инкоэренцу с небесами, и порядок – предупреждал же Генри Джеймс, что это всего лишь наша фантазия о Вселенной – распался под властью хаоса, который и есть закон природы. Над воротами имения опасно покачивался оборванный электрический кабель, на кончике его – смерть. Всякий раз, когда провод задевал ворота, по металлической решетке пробегали с треском голубые искры. Старый дом устоял, но река прорвала берега, поднялась гигантской миной – сплошь грязь да зубы – и одним глотком всосала в себя поместье. Теперь она отступила, но оставила сплошные разрушения. Глядя на это безобразие, мистер Джеронимо почувствовал, что присутствует при гибели своей мечты, стоит на месте преступления, где густая черная грязь и окаменевшее дерьмо прошлых дней убили его мечту. Может быть, он даже заплакал. И там, на еще недавно аккуратных склонах-лужайках, которые теперь скрыла черная грязь раздувшегося Гудзона, когда со слезами на глазах он обозревал останки лучшей своей ландшафтной работы, отнявшей более десяти лет: каменных спиралей, подобия тех, что строили кельты в каменном веке, ботанического сада, посрамившего флоридский оригинал – Затопленный сад, солнечных часов, точный аналог тех, что находились на Гринвичском меридиане, лесов рододендронов, Критского лабиринта со здоровенным каменным Минотавром в самом центре, тайных уголков, скрытых среди кустарника – все теперь утрачено, разрушено черной грязью истории, корни деревьев торчат из черной грязи, словно руки утопленников – там и тогда мистер Джеронимо понял, что с ногами у него вовсе неладно: он вышел из грузовика и шагал по грязи, но ботинки не застревали в ней и не чавкали. Он сделал два-три изумленных шага по этой черноте, оглянулся и увидел, что не оставляет следов.

– Проклятие! – вскричал он в ужасе.

В какой же мир забросила его буря? Мистер Джеронимо не считал себя человеком, которого легко напугать, но отсутствие следов основательно выбило его из колеи. Он сильно приотпнул – левой ногой, правой, снова левой. Подпрыгнул, стараясь приземлиться как можно увесистее – грязь не шелохнулась. Он что, напился? Нет, хотя порой он перебарщивал, что естественно для одинокого старика, и почему бы и нет, однако на этот раз спиртное тут ни при чем. Или он еще спит и ему лишь снится, будто Ла-Инкоэренца скрылась под морем грязи? Допустимо, однако это не казалось сном. Может, со дна реки поднялась грязь иного мира, наподобие речного монстра, грязь, неведомая ученым, и глубоководные тайны придают ей способность сопротивляться весу мужчины в прыжке? Или – самое правдоподобное, но и самое тревожное объяснение – произошла перемена в нем самом? Необъяснимое, коснувшееся лично его ослабление гравитации? Иисусе, беззвучно прошептал он, и тут же представилось, как отец хмурится, услышав упоминание святого имени всуе, как обрушивается на него, малыша, нависая над ним с расстояния разве что в полметра, но так, словно гремит воскресной проповедью с кафедры, как всегда суля своей пастве огонь и серу. Иисусе! Нужно поскорее показать ноги врачу.

Мистер Джеронимо был человеком весьма приземленным и практичным: ему и в голову не пришло, что началась эпоха иррационального и то отклонение гравитации, жертвой которого он стал, – лишь одно из множества проявлений этого времени. Дальнейшие несообразности в его собственной истории выходили за пределы понимания Джеронимо. Так, например, ему в голову не приходило, что немного времени спустя он сделается возлюбленным принцессы джиннов. И вообще изменения глобальной реальности не слишком его беспокоили, из своей беды он не делал общих выводов, он не предчувствовал ни скорого возвращения в океан морских чудищ, способных одним глотком поглощать корабли, ни появления мужчин столь сильных, что они будут поднимать взрослых слонов, ни полета в небесах волшебников, несущихся по воздуху на суперскорости, оседлав магические урны с пропеллером. Он не предполагал, что мог подпасть под чары могущественного враждебного джинна.

Тем не менее, от природы наделенный методическим умом, а сейчас весьма озабоченный своим новым состоянием, Джеронимо сунул руку в карман изношенного рабочего жилета и нащупал сложенный лист бумаги – счет за электричество. Электричество пока что отключили, но счета с требованием немедленной уплаты приходили исправно. Таков обычный порядок вещей. Он развернул счет и расстелил его на грязи, встал на бумагу, потоптался и попрыгал, попытался также шаркать подметками. Никаких следов. Он наклонился и потянул за уголок – бумага выскользнула из-под его ног. Чистая, без отпечатков подошв. Он попробовал вдургорядь и вытащил счет за коммунальные услуги чистым из-под правой ноги и из-под левой. Зазор между ним и поверхностью земли был очень мал, но существовал несомненно. Отныне мистер Джеронимо висел над планетой, отделенный от нее как минимум толщиной бумажного листка. Он выпрямился, держа в руках листок. Вокруг лежали древесные гиганты, мертвые, утонувшие в грязи. Госпожа Философ – его нанимательница, наследница кормовой компании Александра Блисс Фаринья – следила за ним сквозь французские окна первого этажа, слезы струились по ее прекрасному юному лицу, и что-то еще истекало из ее глаз, чего он не мог распознать. Возможно, то был страх или шок. А может быть, желание.

Жизнь мистера Джеронимо до того момента представляла собой странствие, ставшее довольно обычным в лишенном корней мире наших предков, где люди часто отрывались от родных мест и религий, сообществ, стран, языков и от еще более важных вещей, таких как честь, этика, здравый смысл и правда, – где они, можно сказать, откалывались от подлинных своих жизненных историй и до конца своих дней пытались обрести или выдумать новые, синтетические сюжеты. Он, незаконный отпрыск пламенного католического пастыря, родившийся в Бандре, город Бомбей, получил имя Рафаэль Иеронимус Манесес. Это было за шестьдесят с лишним лет до тех событий, которые мы описываем ныне, и этими именами его нарек на другом континенте и в другую эпоху человек, который казался ему потом столь же чуждым, как марсианин или динозавр, и все же был ему настолько близок, насколько близка родная кровь. Отец Джерри – святой и кровный – преподобный отец, брат Иеремиа Д’Низа, сам себя именовал «Человеком-горой» и «Чудо-китом». У него были уши без мочек, зато, словно в порядке компенсации, он обладал глоткой Стентора, глашатая греческой армии под Троей – его голос силой равнялся голосам пятидесяти мужей. Отец Иеремиа был главным сватом своей округи и благожелательным ее тираном – консерватор в лучшем смысле слова, как все говорили. «Либо Цезарь, либо никто» – таков был его личный лозунг, как у Чезаре Борджиа, а поскольку отец Иеремиа уж никак не был «никто», выходило, что он – Цезарь, и в самом деле, авторитет его был столь велик, что никто и не пискнул, когда он втайне (то есть у всех на глазах) сосватал пару и себе: суроволикую стенографистку, тощую Магду Манесес, казавшуюся хрупкой веточкой рядом с разросшимся баньяном – отцом Иереимей. Благочестивый брат и преподобный отец слегка нарушил celibat и сделался отцом здоровенького мальчика, в котором нельзя было не признать – по характерной форме ушей – его сына. «У всех Д’Низа, как и у Габсбургов, нет

мочек, – говаривал отец Джерри. – Жаль, что не тех выбрали императорами». (Грубые уличные мальчишки Бандры понятия не имели о Габсбургах. Они твердили, будто отсутствие мочек – знак, что Рафаэлю верить нельзя, это признак безумия, примета того, кто именуется ученым и волнующим термином *психопат*. Но это, разумеется, было всего лишь невежественное суеверие. Он ходил в кино, как и все прочие, и видел своими глазами: психопаты, эти маньяки-убийцы, маньяки-ученые, безумные падишахи-Моголы, имели вполне обычные уши.)

Сын отца Джерри не мог, разумеется, носить фамилию отца, нужно ведь соблюдать приличия, так что он получил фамилию матери. Имена же добрый пастырь ему подобрал «Рафаэль» – в честь святого покровителя испанской Кордовы – и Иеронимус в честь Евсевия Софрония Иеронима Стридонского. «Раффи-Роннимус-пастырский-соннимус» распевали грубые мальчишки, игравшие во французский крикет на улицах Бандры, названных именами католических святых: улица святого Льва, святого Алексея, святых Иосифа, Андрея, Иоанна, Рока, Себастьяна, Мартина – пока он не вырос таким большим и сильным, что его перестали дразнить, но для отца он всегда был «юный Рафаэль Иеронимус Манесес», торжественно и полностью. Он жил со своей матерью Магдой в восточной части Бандры, а по воскресеньям ему разрешалось являться к отцу в более тонную западную часть, петь в хоре в его церкви и слушать проповедь отца Джерри (который явно не ощущал своего лицемерия) о неизбежном последствии греха – грозном и горьком проклятии.

По правде говоря, с годами память мистера Джеронимо ослабела, и многие подробности его детства были утрачены. Образ отца уцелел фрагментами, и он помнил, как пел в церкви. Мистер Джеронимо в детстве учил чуточку латынь, пел на Рождество песенку, приглашавшую верных в Вифлеем на древнем языке римлян, произнося «в» как «ув» по приказу отца: *Wenite, wenite in Bethlehem. Natum widete regem angelorum*. Но стубила его Вульгата, творение его тезки, святого Иеронима, Бытие, глава первая, стих третий: *Dixitque Deus: fiat lux. Et facta est lux*. На язык бомбейской «Увульгаты» это переводилось так: «Сказал Бог: машинку из Италии, мыло, которым моют талию. И сделался „Люкс“. Папа, папа, зачем Богу понадобился крошка „Фиат“ и кусок мыла и почему Он получил только мыло? Почему Он не смог сотворить еще и автомобиль? И почему не получше автомобиль, папа? Попросил бы себе Иисус „Крайслер“, а?» Иеремия Д’Низа предсказуемо обрушил на него очередную иеремиаду, напомнив громоподобно о его происхождении не-на-супружеском-ложе. Не называй меня папой, зови отцом, как все, и он удрал от карающей руки пастыря, смеясь и распевая: *машинка из Италии, мыло, которым моют талию*.

Вот все его детство в одной картинке. Он всегда знал, что церковь не для него, но петь ему нравилось. По воскресеньям все местные Сандры сходились в церковь, ему нравились их зачесанные кверху волосы и порывистые движения. *Ангел-вестник нам поет*, учил он перед Рождеством, *брат пилули «Бичем» в рот. Чтобы в рай нам угодить, надо восемь проглотить, если хочешь прыгнуть в ад, проглоти все сто подряд*. Сандрам это нравилось, они разрешали ему тайком целовать их в губы за перегородкой, отделявшей место певчих. Отец, апокалиптически гремевший с кафедры, почти никогда не поднимал на него руку, чаще просто позволял сыну изрыгать из уст кощунственную пену, пока тот не уgomонится: бастарды, понимал он, имеют свои причины возмущаться и пусть уж выплескивают свой гнев, как умеют. После смерти Магды – она пала жертвой полиомиелита в те древние дни, когда еще не всем стала доступна вакцина Солка – он отправил Иеронимуса в столицу мира, учиться ремеслу у дяди Чарльза, архитектора, но и это не пошло впрок. Позднее, когда молодой человек закрыл студию на Гринвич-авеню и занялся садоводством, отец написал ему: «Ты никогда ничего не достигнешь, поскольку не можешь ни к чему прилепиться». И вот мистер Джеронимо, отлепившись от земли посреди садов Ла-Инкоэрэнца, вспомнил отцовское предостережение. Похоже, старик знал, о чем говорил.

В устах американцев «Иеронимус» быстро превратился в «Джеронимо», и ему, надо признаться, нравился намек на индейского вождя. Он и сам вырос крупным, в отца, с большими умелыми руками, с широкой шеей и ястребиным профилем, так что с его индийской (не вест-, а ост-индийской) смуглотой и т. д. американцам, естественно, мерещился в его облике Дикий Запад, и они обращались с ним почтительно, как с одним из последних представителей народа, истребленного белым человеком, и он принимал их почтительность, не уточняя, что он не из Вест-, а из Ост-Индии, и потому знаком с принципиально иной историей империалистического угнетения – впрочем, все равно. У дяди Чарльза Дуниццы (он изменил написание фамилии, подстраиваясь, как он говорил, под любовь американцев ко всему итальянскому) уши тоже были без мочек, и ростом он удался, как и все в этой семье. Он был седовласый, с кустистыми белыми бровями, пухлые губы обычно растягивались в кроткой улыбке неодобрения, и он не допускал обсуждения политики в своей скромной архитектурной студии. Он повел двадцатидвухлетнего Джеронимо выпить в баре, где хозяева, родом из Генуи, собирали трансвеститов и проституток мужского пола, а также трансгендеров, и разговаривать он хотел только о сексе, о любви между мужчинами, чем напугал и очаровал бомбейского племянника – тому никогда не доводилось обсуждать подобные вопросы, и до тех пор они оставались ему неведомы. Для отца Джерри, консерватора с правым уклоном, гомосексуализм был за пределами допустимого, как бы и не существовал, но юный Джеронимо очутился в замшелом особняке гомосексуального дядюшки на Сент-Марке, в доме, полном протеже дядюшки Чарльза – с полдюжины кубинских беженцев-геев, которых Чарльз Дуницца снисходительно, легкомысленно махнув рукой, обозначал всех скопом «Раулями». Раули обнаруживались в ванной в любое время дня, выщипывали себе брови или томно сбривали волосы с груди и ног, прежде чем отправиться на поиски любви. Джеронимо Манесес понятия не имел, как общаться с ними, но не беда: они тоже не видели интереса в разговоре с ним. Он испускал мощные гетеросексуальные феромоны, а Раули отвечали легкими гримасками равнодушия, подразумевавшими: можешь сосуществовать с нами в одном доме, раз уж приходится, но на самом деле ты для нас не существуешь вовсе.

Глядя им вслед, когда они, пританцовывая, отправлялись в ночь, Джеронимо Манесес понял, что завидует их беззаботности, легкости, с какой они сбросили с себя Гавану, словно змея – старую кожу, и осваивают новый город, имея в запасе лишь десять исковерканных английских слов, ныряют в городское многоязыкое море и сразу чувствуют себя как дома или, на худой конец, добавляют свою легкую, колкую, сердитую, обиженную бесприютность ко всем прочим квадратным колышкам, щемящимся в круглые отверстия, и с помощью неразборчивого секса в банях обретают принадлежность к месту. Он бы тоже хотел быть таким. Он чувствовал то же, что Раули: оказавшись здесь, в разбитой, грязной, неистощимой, опасной, неотразимой метрополии, он никогда не вернется домой. Подобно многим неверующим, Джеронимо Манесес искал свой рай, но Манхэттен в ту пору был мало похож на Эдем. После случившихся в то лето бунтов дядя Чарльз перестал ходить в мафиозный бар. Год спустя он пройдет в марше гей-прайда, но скованно: он не был любителем публичных протестов. Прочитав «Кандида», он согласился с часто порицаемым героем Вольтера: *Il faut cultiver son jardin*³. «Сиди дома, ходи на работу, занимайся своим делом, – наставлял он племянника, – а вся эта солидарность плюс активизм... ну, не знаю». Он был осмотрителен от природы и состоял в ассоциации геев-предпринимателей, к которой, как Чарльз Дуницца с гордостью вспоминал и годы спустя, обратился с речью Эд Кох, когда вошел в городской совет: то была первая публичная организация геев, перед которой Кох выступал, и члены этой организации были слишком хорошо воспитаны, чтобы задать будущему мэру вопрос о его ориентации (хотя слухи ходили). Чарльз регулярно участвовал в собраниях этой ассоциации в Виллидже (в пиджаках

³ Следует возделывать свой сад (*фр.*).

и при галстуках), на свой лад он был таким же консерватором, как и оставшийся на родине брат, отец Джерри. Однако, получив приглашение на марш, он надел воскресный костюм и присоединился к этому неистовому карнавалу, один из немногих официально одетых мужчин среди пестрого буйства самоутверждения. И Джеронимо, хотя и гетеро, пошел с ним: они быстро подружились, и было бы неправильно отпустить дядю Чарльза в бой одного. Потом прошли годы, архитектурная практика сникла, студия на Гринвич-авеню была увешана мечтами: зданиями, которые Чарльз Дуницца так и не построил и не построит никогда. На исходе 1990-х его друг, знаменитый застройщик Бенто В. Эльфенбайн, купил сто акров лучшей земли в деревне на южном отроге Лонг-Айленда – на языке индейцев пеко это место называлось «Большой земляной орех», но его ошибочно перевели как «картошка» – Бенто хотел, чтобы сто «архи-архитекторов» построили на каждом акре по авторскому дому. Один из акров он обещал Чарльзу: «Конечно же, Чарльз! Неужто я забуду своего друга!» – восклицал Бенто, но проект не трогался с места из-за сложных финансовых проблем, и улыбка на лице дяди Чарльза помаленьку сникала, становилась все печальнее. Бенто – денди с заливчатой прической, болтаются темные волосы, и с галстуками у него были весьма пестрые отношения, почти до нелепости гламурный, шокирующе очаровательный отпрыск большой голливудской династии. Блестящий интеллектual, цитировавший «Теорию праздного класса» Веблена с горькой иронией, слегка приправленной фирменной, непобедимой голливудской улыбочкой в духе Джоя Брауна – сплошь крупные ярко-белые зубы, наследство от матери, красовавшейся на экране рядом с Чаплином. «Праздный класс, то есть землевладельцы, от которых зависит мой бизнес, – пояснял он Джеронимо Манесесу, – это охотники, а не собиратели, они разбогатели на аморальных путях эксплуатации, а не шли достойным путем прилежания. А я, прокладывая собственный путь, должен обходиться с богачами как со славными ребятами, светскими львами, создателями национального богатства и стражами свободы, и почему бы и нет, ведь я и сам такой же эксплуататор, и я тоже хочу изображать из себя добродетель».

Бенто с гордостью носил имя (одну из версий имени) философа Спинозы. «Если перевести мое имя, – говаривал он, – выйдет Барух Слоновая кость, Барух Айвори. Останься я в кинобизнесе, это было бы, пожалуй, кстати, ну да ладно: в Новом Амстердаме я горжусь тем, что назван в честь Бенедито де Эспеносы, португальского еврея из Амстердама старого. От него я унаследовал славный рационализм, понимание, что разум и тело едино и что Декарт напрасно пытался их разделить. Души нет. Нет призрака в машине. Что происходит с разумом, то приключается и с телом. Состояние тела – оно же и настроение ума. Запомните это. Спиноза утверждал, что у Бога тоже есть тело, что разум и тело Бога едины, как у нас. За такие бунтарские мысли его изгнали из еврейской общины. Произнесли против него в Амстердаме анафему, *херем*. Католики не отстали, включили бессмертную „Этику“ в Список запрещенных книг. Но это вовсе не означает, что он заблуждался. Он, в свою очередь, черпал вдохновение у андалусийского араба Аверроэса, которому тоже нелегко пришлось, и это опять-таки не означает, что Аверроэс заблуждался. По моему мнению, кстати сказать, теория Спинозы о единстве разума и тела вполне применима к государствам: тело политики и те, кто у руля – неразделимы. Помните фильм Вуди Аллена, где менеджеры из мозга посылали сперматозоидов в белом на дело, когда тело собиралось перепихнуться? Вот так оно и устроено».

Бенто жил в особняке на Парк-авеню (Южной) и обедал по большей части в отделанном дубовыми панелями ресторане там же, на первом этаже. Сюда он приглашал порой Джеронимо Манесеса поговорить о жизни как она есть.

– Человек вроде тебя, – рассуждал он, – выданный с корнями из одной страны и еще не пустивший корни в другой, представляет собой то, что мой любимец Торстейн В. называл *чужаком с беспокойными ногами*. Он нарушает интеллектуальный покой, но какой ценой? Сам становится интеллектуальным странником, блуждающим по ничейной земле в поисках пристанища, дальше по той же дороге, где-то за горизонтом. Тебе это знакомо? Или же ты – думаю,

именно так обстоит дело – ищешь местечко поближе к дому? Не по ту сторону радуги, а подле, будем говорить начистоту, моей красотки дочери? Не она ли – Элла – нужна тебе, чтобы не дрейфовать дальше? Твоим якорем – вот чем ты хотел бы ее сделать, чтобы ноги вновь отяжелели и никуда больше не стремились? Совсем дитя, двадцать один в прошлом марте сравнялся. Ты старше ее почти на четырнадцать лет. Я не говорю, что это плохо, я знаю, как этот мир устроен. К тому же моя принцесса обычно получает все, чего захочет, так что предоставим решать ей, да?

Джеронимо Манесес кивнул – что еще ему оставалось.

– Итак, *genug*⁴, – сказал Эльфенбайн с киношной улыбкой. – Попробуй камбалу!

В ту зиму дядя Чарльз внезапно заявил, что хочет съездить обратно в Индию, и взял с собой Джеронимо. После стольких лет разлуки родной город потряс их. Словно инопланетный город, Мумбаи спустился из космоса и расположился поверх Бомбея, который они помнили. Но что-то от Бандры уцелело, ее дух, как и ее здания, и отец Джерри тоже, все еще крепкий в свои восемьдесят лет, все еще в окружении обожавших его прихожанок, хотя, видимо, уже мало на что способный: старый священник за прошедшие годы помрачнел, исхудал, голос его ослаб. Во всех отношениях он сделался меньше себя прежнего.

– Мне повезло, Рафаэль, жить в мои времена, а не в эти, – заговорил он за китайским обедом. – В мои времена никто не смел сказать, что я не настоящий бомбеец или не настоящий *пукка*⁵ индеец. А теперь говорят!

Джеронимо Манесес, услышав после столь долгого перерыва свое подлинное, полученное при рождении имя, ощутил укол некоего чувства и опознал это чувство как отчуждение: некая часть его перестала ему принадлежать, а еще он понял, что отец Джерри, пихавший себе в рот чоу-мейн с курицей так, словно это была последняя в его жизни трапеза, чувствует себя подобно ему отчужденным, таким же безымянным. В этом новом Мумбаи, после целой жизни служения, он вдруг сделался неаутентичным: возвышающаяся идеология экстремистской хиндутвы отлучила его от полноправного членства в своей же стране, от родного города, от себя самого.

– Я расскажу историю нашей семьи, которую я никогда не рассказывал тебе прежде, – сказал отец Джерри. – Не рассказывал, потому что думал в ослеплении своем, что ты не вполне принадлежишь к семье, – и за это прошу у тебя прощения.

Чтобы отец Джерри попросил прощения – это как удар молнии, еще один знак, что место, куда возвратился Джеронимо Манесес, уже не то, откуда много лет назад уехал юный Рафаэль Манесес, зато утаенная семейная история показалась американскому уху Джеронимо Манесеса изрядно путаной и нелепой: древние предания о предках в Испании XII века, о насильственном обращении, об изгнаниях, родственных браках, блужданиях, незаконных детях, джиннах, о мифической родоначальнице Дунье, инкубаторе по производству детей, которая то ли приходилась сестрой Шахерезаде, то ли была «джинном без бутылки, которую следует открыть, и без лампы, которую надо потереть», и о философе-патриархе Аверроэсе (отец Джерри произнес имя Ибн Рушда на западный манер и, сам того не зная, вызвал в памяти Джеронимо лицо Бенто Эльфенбайна, поминающего Спинозу).

– Мне аверроизм не по душе, еретическая школа философии, порожденная ученым приапом из Кордовы, – ворчал отец Джерри, с остатками бывшего задора пристукивая по столу кулаком. – Даже в средние века его приравнивали к атеизму. Но если история Дуньи, обильной потомством вероятной джиннии с темными волосами, истинна, если кордовец действительно сеял свои семена в этом саду, то мы – его ублюдочные отпрыски и наша фамилия Д'Низа – вероятно, искаженное веками «Дуньязат», и проклятие, которое он наложил на нас, составляет

⁴ Довольно (нем.).

⁵ Абсолютный, совершенный (хинди).

нашу судьбу и беду: мы ступаем не в ногу с Господом, то ли опережаем свое время, то ли отстаем, кто разберет, мы флюгера, указывающие, куда ветер дует, канарейки в шахте, которыедохнут, указывая людям, что воздух сделался ядовит, мы громоотводы, и в нас первых ударяет молния. Мы – народ избранный, Бог разбивает нас своей дланью в пример всем, всякий раз, когда пожелает что-то человечеству указать.

В таком-то возрасте я слышу наконец, что не постыдно быть незаконным сыном моего отца, ибо все мы – рожденное вне брака племя бастардов, сказал себе Джеронимо Манесес и задумался, не приносит ли старик в такой форме свои извинения. Принять подобные рассказы всерьез он не мог, да и не очень-то ими заинтересовался.

– Если эта история правдива, – сказал он, поддерживая разговор из вежливости, не желая обнаружить отсутствие интереса к старинному вздору, – то в нас намешано всего понемногу, так? Иудео-мусульманские христиане. Лоскутное одеяло.

Морщины еще глубже избороздили лоб отца Джерри.

– Быть всем понемногу – суть Бомбея, – пробормотал он. – Но теперь это не в моде. Узкие умы вместо широких юбок. Правит большинство, а меньшинство – поберегись! Мы сделали чужаками в родных местах, и когда начнутся неприятности – а они скоро начнутся, – чужаки, известное дело, огребут первыми.

– Кстати говоря, – вмешался дядя Чарльз, – на самом деле семейную сказку тебе никогда не рассказывали потому, что он не желает признавать в себе еврейскую кровь – или кровь джиннов, потому что джиннов в природе нет, верно же, а если они существуют, то происходят от дьявола, правильно я понимаю? Я же тебе никогда этого не рассказывал, потому что сто лет назад все забыл. Мне и моей сексуальной ориентации хватает, чтобы ощущать себя всюду чужаком.

Отец Джерри гневно глянул на брата.

– Я всегда был уверен, – яростно заговорил он, – что тебя следовало в детстве бить покрепче и выколотить из тебя педика.

Чарльз Дуницца ткнул в сторону разгневанного священника вилкой, с которой все еще свисали макароны:

– Раньше я себя уговаривал, что это он так шутит, – признался он Джеронимо. – Но теперь мне себя уже не уговорить.

Обед закончился в глухом, мрачном молчании.

Народ избранный, мысленно повторил Джеронимо. Это я уже слышал.

Прогуливаясь по любимым с детства улицам, Джеронимо Манесес видел: что-то безнадечно здесь повреждено. И когда несколько дней спустя он покидал Мумбаи, то знал, что больше не вернется. Он проехал с дядей Чарльзом по стране, осматривал постройки. Они наведались в дом, который Ле Корбюзье возвел в Гуджарате для родоначальницы текстильной династии. Дом был прохладен и полон воздуха, с солнцезащитными козырьками, спасавшими от палящей жары. Но Джеронимо увидел не дом, а сад: сад словно цеплялся лапами, змеился вовнутрь, сметал преграды между внешним пространством и интерьером. Верхнюю часть дома захватили цветы и трава, пол превратился в лужайку. Джеронимо ушел оттуда, сознавая, что больше не хочет быть архитектором. Дядя Чарльз поехал на юг, в Гоа, а Джеронимо Манесес добрался до Киото и сел у ног великого садовода Рионосукэ Симура, который объяснил ему, что сад есть внешнее выражение внутренней истины, место, где наши детские мечты сталкиваются с архетипами культуры, к которой мы принадлежим, порождая красоту. Пусть земля принадлежит владельцу, сад всегда принадлежит садовнику. Такова сила садоводческого искусства. *Il faut cultiver son jardin* из уст Симуры звучало уже не столь квинтистски, но тот, кого нарекли Иеронимом, знал также по картинам великого своего тезки, что сад может превратиться в метафору инфернального. В итоге и ужасающие «земные радости» Босха, и Симуров

мурчащий мистицизм помогли ему сформулировать собственные мысли, и он стал воспринимать сад и свою работу в нем как брак рая и ада, словно у Блейка.

После этой поездки в Индию дядя Чарльз объявил, что отправляется со своими сбережениями в Гоа, выходит на пенсию. Он купил там простенький домик и выставил на продажу кирпичный особняк на Сент-Марке (Раули, гости семидесятых, давно рассеялись). Вырученные от продажи деньги должны были обеспечить его старость. Что касается архитектурской практики, «она твоя, если хочешь», предложил он Джеронимо, и тот, кажется, впервые в жизни смог точно сказать, чего он хочет. Он устроился в студии на Гринвич-авеню и, с небольшой денежной помощью Бенто Эльфенбайна, преобразил ее в офис садово-ландшафтной компании «Джеронимо Садовник», а драгоценная дочь Бенто Элла добавила к этому названию «мистер», и в нем появилась певучесть, к тому же окончательно укрепились новая американская идентичность – отныне для всех он сделался «мистер Джеронимо».

Юная Элла Эльфенбайн – вот, разумеется, главный объект его желаний, и – непостижимо, но она тоже хотела его, полусиротка Элла, не сохранившая даже воспоминаний о Ракель Эльфенбайн, которая умерла от рака, когда дочке было всего два года, однако Элла, по словам отца, была точным слепком с матери, ее новым воплощением. Таинственная и неугасимая любовь Эллы к мистеру Джеронимо, которого, как ей нравилось напоминать, она сама, по крайней мере отчасти, создала, побудила Бенто вложить средства в мужчину, за которого дочь собралась замуж. Элла – красавица с оливковой кожей, подбородок самую малость великоват, уши, вот удивительно, в точности как у него, практически без мочек, и верхние резцы длинноваты, но на это мистер Джеронимо не жаловался, он понимал, как ему повезло. Если бы он верил в существование души, он бы сказал, что у Эллы прекрасная душа, и он знал по ее рассказам – она не могла удержаться, – сколько мужчин ежедневно западают на нее. Но ее верность мужу была столь же неизменной, сколь непостижимой. К тому же он никогда не встречал такого жизнерадостного человека – она терпеть не могла книг с плохим концом, каждый день встречала с улыбкой и верила, что самые тяжелые обстоятельства можно обратить во благо. Ей нравилась теория, будто позитивное мышление исцеляет болезни, а от гнева можно занедужить. Однажды утром, лениво перебирая воскресные каналы, она услышала телепроповедника: «Бог благоволит верным, он даст вам все, чего пожелаете, стоит лишь искренне этого пожелать», и до мистера Джеронимо донесся ее тихий, шепотом, комментарий: «Это правда». Она верила в Бога так же сильно, как ненавидела фаршированную рыбу, не признавала, что люди произошли от обезьян, и была уверена – твердила ему об этом, – что рай существует и когда-нибудь она попадет туда, а также существует ад, куда он, похоже, нацелился, но она непременно его спасет, так что его тоже ждет счастливый конец. Он постановил, что будет считать все это не странным, а милым, и они жили счастливо. Шли годы. Детей не было. Элла оказалась бесплодной. Может быть, и поэтому ей так нравилось, что он стал садовником: по крайней мере, хоть такие семена он мог посадить и видеть, как они приносят плоды.

Он рассказывал ей с присущим ему черным юмором про одиноких мужчин в дальних странах, которые пытаются оплодотворить землю, роют в земле дыры и заполняют их собственным семенем в надежде, что вырастут человеко-растения, полулюди, полудеревья, но тут она его останавливала, такие истории ей не нравились. «Расскажи мне что-нибудь приятное! – требовала она. – Это плохая история!» Он опускал голову в притворном смятении, и она прощала его – уж она-то не притворялась, прощала от души, как все, что она говорила и делала.

Прошло еще несколько лет. Несчастья, предсказанные отцом Джерри, обрушились на Бомбей, который сделался Мумбаи, и весь декабрь и январь напролет продолжались беспорядки, в результате которых погибло девятьсот человек, по большей части индусы и мусульмане, однако, по официальным данным, было среди них и сорок пять «неизвестных», а также пятеро «других». Чарльз Дуница приехал из Гоа в Мумбаи, чтобы навеститься в Каматипура, в квартал красных фонарей, он искал Манджулу, предпочитаемого им *хижру*, «секс-работ-

ника» (таков был новый морально безоценочный термин), но вместо сексуального обслуживания обрел смерть. Толпа, возмущенная уничтожением мечети могольского императора Бабара в Айодхе, пронеслась по улицам, и, видимо, первыми жертвами раздора между индусами и мусульманами пали христианин из категории «другие» и его трансгендерная шлюха, тоже «другой», но в другом роде. Всем наплевать. Отец Джерри в тот момент находился на чужой территории, в мечети Минара округа Пидония, пытаясь в качестве «третьей стороны», не индуса и не мусульманина, пустить в ход свой многолетний авторитет и охладить страсти верующих, однако ему велели убираться прочь, и, видимо, кто-то пошел за ним следом, кто-то, у кого на уме было убийство – отец Джерри так и не вернулся в Бандру. Затем прокатились еще две волны убийств, превратившие Чарльза и отца Джерри в малозначимые цифры статистики. Город, некогда гордившийся тем, что не знает межобщинных раздоров, не мог более этим похвалиться. Бомбей исчез, умер вместе с преподобным отцом и благочестивым братом Иеремией Д’Низа. Остался лишь новый, уродский Мумбаи.

– Ты – все, что у меня есть, – сказал Джеронимо Манесес Элле, получив известие о судьбе отца и дяди.

Вскоре умер и Бенто Эльфенбайн, пораженный молнией с ясного ночного неба, когда вышел покурить сигару в своем любимом стоакровом имении Большой Земляной Орех после веселого ужина с добрыми друзьями – тут-то и выяснилось, что финансовые авантюры привели его к краху, он влез во многие безупречные затеи, не то чтобы схема Понци, но приписки и мошенничество и дым в глаза, какие-то аферы с хозтоварами и канцтоварами и жульническая афера в духе Макса Белостока с кинопродукцией, доставлявшая ему особое удовольствие. «*Кто бы подумал, – писал он в дневнике, ставшем главной уликой, – что „Весна для Гитлера“ сработает в реальной жизни?*» Среди его операций значилась как минимум одна гигантская финансовая пирамида на Среднем Западе, и в целом его дела оказались настолько запутаны, что сразу после смерти Эльфенбайна костяшки домино посыпались, обрушились унижениями конфискации и банкротств. Пропали и сто акров Большого Земляного Ореха, ни один из вымечтанных Бенто домов так и не был построен. Проживи он дольше, не избежать бы Эльфенбайну тюрьмы, только теперь понял мистер Джеронимо. Власти уже сели ему на хвост, обнаружив и уклонение от налогов, и десятки других нарушений – круг смыкался. Гром с ясного неба обеспечил ему достойный исход, столь же яркий, как вся его жизнь. «Теперь, – сказала Элла, унаследовав то, что она называла *сущими пустынями*, – ты тоже – все, что у меня есть». И он, обнимая ее, ощутил суеверную дрожь: припомнил, как отец Джерри на том «официальном» китайском ланче рассуждал о проклятом Богом потомстве Ибн Рушда, представителям которого уготовано служить громоотводами или назидательными примерами. Возможно ли, тревожился он, чтобы семьи, соединившиеся с его родом посредством брака, тоже подпали под проклятие? *Прекрати*, велел он себе. *Ты же не веришь ни в средневековые проклятия, ни в Бога.*

Ей было тогда тридцать, ему – сорок четыре. Она сделала его счастливым человеком. Мистер Джеронимо, счастливый садовник, его жизнь выветривались, как горная порода, и дни его лежали обнаженные, как раскрытые тайны, его лопата, совок, секатор и перчатки говорили на языке живых вещей столь же красноречиво, как перо любого писателя – по весне расцветивая розовыми цветами землю, зимой борясь со льдом. Вероятно, труженикам свойственно приравнять себя к объектам своего труда, примерно так, как хозяева собак с годами становятся похожи на своих псов, и тихое пристрастие мистера Джеронимо было не так уж необычно – по правде говоря, втайне он представлял себя растением, даже одним из тех человеко-древ, которые рождаются от соития мужчины с землей, и, соответственно, из садовника сам превращался в объект садоводческого ухода. Он сажал себя в почву времени и, безбожник, дивился, кто же обихаживает его. Воображением он преображался неизменно в одно из бескорневых растений, вроде мха или какого-нибудь еще эпифита, которому необходимо опираться на дру-

гих, не живут они сами по себе. Итак, в собственной фантазии мистер Джеронимо был каким-то лишайником, а лепился он к садовнице своей души (души, которой у него не было) – к Элле Манесес, любящей и возлюбленной жене.

Порой, занимаясь любовью, она говорила ему, что он пахнет дымом. Порой она говорила, что в порыве страсти очертания его тела смягчаются, размываются, так что ее тело вливается в его. Он отвечал ей: он каждый день сжигает в саду мусор. Он говорил ей: у нее чересчур живое воображение. Ни он, ни она не догадывались об истине.

А потом, через семь лет после смерти Бенто, молния ударила вновь.

Тысяча один акр Ла-Инкоэрэнцы были наречены человеком, приверженным числам и не видевшим ясного смысла в этом мире, мистером Сэнфордом Блиссом, королем животных кормов, производителем знаменитых «Блисс Чоус» для свиней, кошек, собак, лошадей, рогатого скота и обезьян. О Сэнфорде Блиссе говорили: в его мозгу не найти ни одной поэтической строки, но любая сумма в долларах, с какой ему довелось иметь дело, аккуратно сложена в какую-нибудь извилину и в любой момент может быть извлечена. Он верил в наличные и в огромном сейфе в своей библиотеке, за портретом во флорентийском стиле, изображавшим его в виде тосканского гранда, всегда держал прямо-таки абсурдные запасы денег – намного более миллиона долларов в пачках купюр различного достоинства, ибо, говорил он, *никогда не знаешь*. Верил он и в магию чисел, например, что круглых чисел следует избегать, никто не ставит на мешке с кормом цену ровно десять долларов, он продается за 9 долларов 99 центов, и на чай нужно давать не сто долларов, а сто один доллар.

Еще в студенческую пору Сэнфорд провел лето во Флоренции, у Актонов дель ла Пьетра, и за их обеденным столом, в обществе художников и мыслителей, кому числа казались бессмысленными или по меньшей мере заурядными, недостойными их внимания, натолкнулся на поразительно неамериканскую идею: реальность не есть данность, не есть абсолют, она создается людьми, и ценности тоже меняются в зависимости от того, кто производит оценку. Мир непоследовательностей, где истина не существует, есть лишь враждующие между собой версии, которые пытаются взять верх над соперниками, а то и вовсе их истребить, ужаснул его: это совершенно не годится для бизнеса, нужно что-то делать. Он назвал имение Ла-Инкоэрэнца, что означает на итальянском «непоследовательность», дабы само название ежедневно напоминало ему урок, усвоенный в Италии, и значительную часть своего состояния Сэнфорд потратил на продвижение политиков, которые – по большей части в силу искренних или притворных религиозных убеждений – выступали в защиту вечных и точных понятий и утверждали, что монополии на товары, информацию и идеи не только благотворны, но даже необходимы для сохранения американских свобод. Вопреки его усилиям дисгармоничность мира, то, что приверженный числам Сэнфорд Блисс называл *шкалой непоследовательности*, неумолимо росла. «Если принять за ноль точку здравомыслия, в которой дважды два всегда четыре, а единица – тот вовсе обезумевший мир, где дважды два станет всем, чем вздумается, – говорил он Александре, возлюбленной дочери, рожденной ему в старости последней, совсем молодой женой-сибирячкой, после того как он давно уже отказался от мечты о наследнике, – тогда, Сэнди, скажу тебе с прискорбием: мы сейчас где-то на ноле целых девятьсот семидесяти трех тысячных».

Когда ее родители внезапно погибли, упав с неба в Ист-ривер, нелепостью своей смерти окончательно доказав дочери, что Вселенная не только непоследовательна и абсурдна, но и бездушна, бессердечна, юная сирота унаследовала все и, не обладая ни деловой хваткой, ни азартом предпринимателя, тут же договорилась о продаже «Блисс Чоус» сельскохозяйственному кооперативу Миннесоты «Озерное озеро», став, таким образом, в девятнадцать лет самой молодой миллиардершей Америки. Она окончила Гарвард, проявив необычайную одаренность в языках – к выпуску свободно говорила на французском, немецком, итальянском, испанском,

голландском, португальском, бразильском диалекте португальского, шведском, финском, венгерском, на кантонском и мандаринском диалектах китайского, на русском, пушту, фарси, арабском и тагалог, *она схватывает языки вмиг*, изумлялись все, *словно подбирает яркие камушки на пляже*, и мужчину она тоже успела себе подобрать, как обычно, аргентинского игрока в поло с пустыми карманами, здорового бычару родом с *эстансии*, Мануэля Фаринью, подобрала и так же быстро отбросила, вышла за него и вскоре развелась. Она сохранила его фамилию, сделалась вегетарианкой, а его отослала прочь. После развода она укрылась в уединении Ла-Инкоэренцы. Здесь началось ее упорное исследование пессимизма, вдохновленное Шопенгауэром и Ницше, и, убедившись в абсурдности человеческого существования и несовместимости счастья и свободы, Александра в первом расцвете юности уже избрала навеки сумрачное одиночество, затворилась в абстракции, облачилась в облегающие тело белые кружева. Элла Эльфенбайн Манесес именovala ее – более чем полупрезрительно – «Госпожа Философ», и это имя закрепилось, по крайней мере в голове мистера Джеронимо.

Имелась в Госпоже Философе и струйка мазохистского стоицизма: в плохую погоду она часто выходила в сад, пренебрегая ветром и дождем или, скорее, принимая их в качестве истинной приметы возрастающей враждебности земли к ее обитателям. Усевшись под старым раскидистым дубом, она читала отсыревающие страницы Унамуно или Камю. Богатые – странные люди, они изыскивают возможности стать несчастными, когда обычные причины несчастья устранены. Впрочем, Госпожу Философа несчастье не обошло стороной, ее родители разбились на частном вертолете. Элитарный способ умереть, но в миг смерти все мы остаемся без гроша. Об этом она никогда не заговаривала, и великодушие требовало истолковывать ее поведение – своевольное, отчужденное, умозрительное – как особую форму скорби.

Гудзон в конце своего пути становится лиманом, «утопленной рекой»: пресная вода окатывается под соленым приливом с моря. «Даже чертова река лишена здравого смысла, – твердил Сэнфорд Блисс своей дочери, – глянь, как часто она течет не в ту сторону, черт ее побери!» Индейцы называли ее Шатемук, «река, текущая в обе стороны». Ла-Инкоэренца на берегу лимана также противилась порядку, и на помощь был призван мистер Джеронимо. Репутация садовника и ландшафтного художника давно окрепла, и его порекомендовал Александре Блисс Фаринья управляющий, эдакий британский добродушный дядюшка по имени Оливер Олдкасл, с бородой Карла Маркса, голосом-фаготом, пьющий, воспитанный в католичестве пошиба отца Джерри, из-за чего он возлюбил Библию и возненавидел Церковь. Олдкасл ввел мистера Джерри в имение, словно Господь – Адама в Эдем, и возложил на него обязанность возратить этому месту садоводческую последовательность и сообразность. Когда мистер Джеронимо начал работать на Госпожу Философа, изгородь в дальнем конце сада щетинилась шипами, словно вокруг замка Спящей красавицы. Упорные кроты прорывали подземные галереи и выскакивали отовсюду, губя газоны. Лисы наведывались в курятник. Наткнись мистер Джеронимо здесь на змея, обвинившего ветвь древа познания, он бы не слишком удивился. Госпожа Философ лишь деликатно пожимала плечами. Ей было едва за двадцать, но она уже усвоила безжалостную бюрократичность вдов: «Чтобы призвать к порядку сельскую местность, – церемонно выговаривала вдовствующая владелица Ла-Инкоэренцы, – нужно убивать, убивать и убивать, крушить и крушить. Лишь после многих лет истребления удастся достичь устойчивой красоты. В этом смысл цивилизации. Но у вас хорошие глаза. Боюсь, из вас не выйдет киллер, какой мне требуется. Впрочем, любой другой окажется, скорее всего, ничуть не лучше».

Поскольку она считала, что слабость человеческого рода в целом только растет и некомпетентность умножается, она решила удовольствоваться мистером Джеронимо и со вздохом смирилась с изъянами своей земли. Погрузившись в размышления, она предоставила мистеру Джеронимо сражаться с шипами и укрощать кротов. Его поражения никто не порицал, его успех не приносил ему награды. Какая-то хворь накинута на дубы во всем округе, чуть не сгу-

била любимые деревья Александры. Мистер Джеронимо последовал примеру ученых с дальнего, западного побережья страны: те покрывали или опрыскивали деревья промышленным фунгицидом и так воспрепятствовали распространению паразита *Phytophthora ramorum*. Когда мистер Джеронимо доложил своей нанимательнице, что деревья спасены, она пожала плечами и отвернулась, словно хотела сказать: рано или поздно их погубит что-то еще.

Элла Манесес и Госпожа Философ, обе молодые, умные и красивые, могли бы подружиться, но нет – их развел «негативизм» Александры, как Элла это называла: в ответ на все уговоры вечно-оптимистичной Эллы она возражала, что «невозможно в данный исторический момент питать какие-либо надежды на будущее человечества». Элла порой ездила вместе с мистером Джеронимо в Ла-Инкоэрэнцу и гуляла там, пока он работал, или поднималась на единственный в поместье зеленый холм полюбоваться текущей не в ту сторону рекой и там, на этом холме, через семь лет после смерти отца, ее тоже сразила молния с ясного неба. Она погибла на месте, и среди множества подробностей ее смерти, казавшихся мистеру Джеронимо нестерпимыми, значилась и эта: в тот день из двух красавиц на угодьях Ла-Инкоэрэнцы молния обрела на смерть оптимистку, а пессимистку оставила в живых.

Явление, обычно именуемое «громом с ясного неба», выглядит так: из тыловой части грозовой тучи вылетает молния, преодолевает расстояние до сорока километров от того места, над которым разразилась гроза, а там обрушивается на землю и поражает высокое здание, одиноко стоящее на вершине дерево или женщину, которая стоит на холме и смотрит, как течет мимо нее река. Гроза, нанеся удар, слишком далеко, ее не видно. Видно только женщину на вершине – как она падает медленно-медленно, словно перышко, против воли подчинившееся закону гравитации.

Джеронимо представлял ее темные глаза, в правом плавали мушки, мешая ей ясно видеть. Он воскрешал в памяти ее разговорчивость, вспоминал ее рассуждения – она по всякому вопросу имела свое мнение – и дивился, как же он обходился потом без ее суждений. Он думал о том, как она не любила фотографироваться, и перебирал все виды пищи, от которых она отказывалась: мясо, рыба, яйца, молочное, помидоры, лук, чеснок, глютен, почти весь список. И снова он ломал себе голову: не преследуют ли молнии его род, не навлекла ли на себя Элла проклятие, вступив с ним в брак, а если так, не он ли теперь на роковой очереди. В течение недели после ее гибели он изучал молнии, как никогда прежде, и, узнав, что девять десятых людей после удара молнии порой страдали разными таинственными недугами, но оставались в живых, уверился, что молния в самом деле метила в Бенито и его дочь. Им молнии не оставили малейшего шанса. Может быть, именно потому, что он давно убедил себя: удар молнии, если когда-нибудь нацелится в него, живым не оставит – теперь, даже попав в великую бурю, даже обнаружив таинственный недуг, разлучивший его стопы с почвой земли, мистер Джеронимо далеко не сразу сделал напрашивавшийся вроде бы вывод: «Может быть, во время бури меня поразила молния, и я остался в живых, но память стерло, и я забыл про молнию – и, может быть, во мне теперь сидит огромный электрический заряд, и он-то и приподнимает меня над землей».

Нет, он об этом не подумал, пока, существенно позднее, эту мысль не высказала Александра Фаринья.

Он попросил у Госпожи Философа разрешения похоронить жену на том зеленом холме над лиманом, который она так любила, и Александра сказала: да, конечно. Тогда он выкопал жене могилу, уложил ее и на миг поддался гневу. А потом гнев иссяк, и Джеронимо, закинув лопату на плечо, отправился домой – один. К тому дню, когда его жена погибла, он успел проработать в Ла-Инкоэрэнце два года, восемь месяцев и двадцать восемь дней. Тысячу и один день. От проклятых чисел нигде не укроешься.

Миновало еще десять лет. Мистер Джеронимо копал, сажал, поливал, обрезал. Он давал жизнь, и он спасал жизнь. В его глазах каждый бутон был ею, каждый куст и каждое дерево. Его труд удерживал ее в живых, и ни для кого больше не оставалось места. Но постепенно она меркла. Его кусты и деревья возвращались в растительное царство, перестав быть ее аватарами. словно бы она вновь покинула его, и после этой повторной разлуки не осталось ничего, кроме пустоты, которая, он твердо знал, никогда не заполнится. Десять лет он прожил словно в тумане. Госпожа Философ погрузилась в теории о близости того часа, когда сбудется худший из возможных сценариев (в ожидании она подкреплялась мраморной говядиной и пастой с трюфелями), голова ее была полна математических формул, которые служили научным основанием для пессимизма, и сама она превратилась почти в абстракцию для Джеронимо, в главный источник дохода и не более того. Ему все еще трудно было не упрекать ее мысленно за то, что в живых осталась именно она, и эта милость, в которой было отказано его жене, так и не побудила уцелевшую женщину радоваться своей красоте и с благодарностью принимать жизнь. Он уткнулся взглядом в землю и в то, что на ней росло, не в силах поднять глаза на человека, кому эта земля принадлежала. Десять лет с тех пор, как умерла его жена, он держался на расстоянии от Госпожи Философа и копил гнев.

Со временем он бы уже не сумел точно ответить на вопрос, как выглядит Александра Блисс Фаринья. Волосы темные, как у его покойной жены. Высокого роста, как его покойная жена. Не любит сидеть на солнце. И Элла не любила. Говорили, она гуляет в поместье по ночам, потому что всю жизнь страдает бессонницей. Другие служащие в поместье, управляющий Олдкасл и остальные, говорили о хронических проблемах со здоровьем, которые, вероятно, и вызвали или по меньшей мере усугубили ее глубокую меланхолию. «Так молода и так часто болеет», – сокрушался Олдкасл. «Чахотка», – намекал он: этим старомодным словом он именовал туберкулез.

Мистер Джеронимо не вникал, от чего она чахнет. Его дело – клубни картофеля, мясистые корневища далий, а бугорки в ее легких – забота домашних. Он же – на воле. Вскармливает из клубней и корней растения, которые приютят дух его покойной жены. Госпожа Философ превратилась в призрак, хотя вроде бы не Элла, а она осталась в живых.

Александра ничего не публиковала под собственным именем и на английском языке. Излюбленный ее псевдоним был «Эль Критикон» по названию аллегорического романа Бальтазара Грасиана – этот написанный в XVII веке текст оказал сильное влияние на ее кумира Шопенгауэра, величайшего мыслителя среди пессимистов. Роман доказывал невозможность для человека достигнуть счастья. В жестоко осмеянном испаноязычном эссе «Худший из возможных миров» Эль Критикон выдвигала теорию (опять-таки подвергнушуюся издевкам за сентиментальность), что разрыв между человечеством и планетой его обитания приближается к критической точке, экологическому кризису, переходящему в кризис экзистенциальный. Академическая братия похлопала ее по плечу, похвалила владение кастильским наречием и отмахнулась от дилетантских выводов. Но после эпохи небывалостей ее сочтут пророчицей.

(Мистер Джеронимо полагал, что пристрастие Александры Фаринья к псевдонимам и иностранным языкам свидетельствует о неуверенности в себе. Он ведь тоже страдал своего рода онтологической неопределенностью. По ночам, одинокий, он разглядывал лицо в зеркале в надежде увидеть мальчика из церковного хора, «Раффи-Роннимуса-пастырского-соннимуса», воображал те пути, по которым не пошел, жизнь, которую не прожил, иную развилку на извилистом жизненном пути. Но воображение отказывало. Порой он наполнялся особого рода гневом – яростью человека без корней, без племени. Но по большей части он уже не рассуждал в терминах «племени».) Праздность ее дней, изящество ее фарфора, элегантность кружевных платьев с высоким воротом, обширность имения и небрежный уход за ним, пристра-

стие к *marrons glacés*⁶ и рахат-лукуму, аристократические кожаные переплеты в библиотеке, изысканный цветочный узор дневников, в которых она вела записи и воинским строем шла на самое робкое допущение радости, все это могло подсказать ей, почему ее не воспринимают всерьез вне стен Ла-Инкоэренцы. Но ей было вполне довольно этого маленького мира. Мнение посторонних нимало ее не беспокоило. Разуму не дано восторжествовать над ярым, неукротимым неразумием, знала она. Тепловая смерть Вселенной представлялась неизбежной. Ее стакан был наполовину пуст. Все распадалось. Единственный достойный ответ на поражение оптимизма – укрыться за высокими стенами, воздвигнуть стены и в самой себе и так ждать неизбежной гибели. Вымышленный Вольтером оптимист доктор Панглосс был, в конце-то концов, глупцом, а его вполне реальный наставник, Готфрид Вильгельм Лейбниц, прежде всего потерпел поражение в качестве алхимика (в Нюрнберге ему не удалось превратить низший металл в золото), а затем и в качестве плагиатора (см. убийственные обвинения, предъявленные Лейбницу сторонниками сэра Исаака Ньютона – дескать, он, Г. В. Лейбниц, изобретатель анализа бесконечно малых, ухитрился заглянуть в работу Ньютона на сей предмет и похитил идеи англичанина). «Если в лучшем из всех миров воруют чужие мысли, – писала она, – то, пожалуй, будет лучше последовать в итоге совету Кандида и удалиться возделывать свой сад». Она-то свой сад не возделывала. Садовника наняла.

Немало времени прошло с тех пор, как мистер Джеронимо в последний раз помышлял о сексе, но недавно, признаться, эта мысль стала вновь приходить ему на ум. В его возрасте подобные размышления клонятся в сторону теоретическую, практические же соображения поиска реального партнера и соединения с ним сделались, согласно неопровержимому закону *tempus fugit*⁷, уделом прошлого. Он изобрел гипотезу множества полов, то есть на самом деле каждое человеческое существо представляет собой особый гендер (наверное, понадобились бы новые личные местоимения, поточнее, чем «он» и «она», и уж конечно, совершенно неприемлемо «оно»). Среди бесконечного разнообразия полов для каждого находятся очень немногие, с кем можно сойтись, кто пожелал бы с ним сойтись, причем с некоторыми из них совместимость возникает ненадолго или же на разумно ограниченный период времени, пока не начнется процесс отторжения, как это бывает при пересадке сердца или печени. При исключительном везении удастся встретить тот пол, с которым ты совместим на всю жизнь, словно вы оба одного пола – собственно, согласно его новому определению, так оно, по-видимому, и выходило. Однажды в жизни он встретил идеальный для него гендер, и вероятность повторной удачи была уничтожающе мала – впрочем, он и не искал, он и не собирался. Но здесь и сейчас, после бури, стоя в море грязи, заполненной окаменевшим дерьмом прошлого, или, точности ради, каким-то образом зависая над этим дерьмом лишь на малую долю дюйма, настолько, чтобы без усилий проташить лист бумаги под своими ботинками, сейчас, когда он оплакивал гибель сотворенного его воображением и был полон страха и сомнения из-за того, что рядом с ним закон всемирного притяжения как-то ослаб, в этот совершенно неподходящий момент его работодательница, Госпожа Философ, наследница кормовой компании, Александра Блисс Фаринья, поманила его из-за створчатого окна.

Приблизившись к створчатому окну, мистер Джеронимо заметил за левым плечом Александры управляющего имением Оливера Олдкасла. Будь он ястребом, подумал мистер Джеронимо, он бы вспорхнул ей на плечо и атаковал любых врагов своей госпожи, вырывал бы им сердца из груди. Госпожа и слуга стояли рядом, озирая развалины Ла-Инкоэренцы, Оливер Олдкасл – точно Маркс, созерцающий гибель коммунизма, Александра – как всегда загадочно-сдержанная, хотя на щеках у нее еще не просохли слезы.

⁶ Засахаренные каштаны (франц.).

⁷ Время бежит (лат.).

– Я не вправе жаловаться, – сказала она, обращаясь не к мистеру Джеронимо и не к управляющему, а саму себя упрекая, словно строгая гувернантка. – Люди лишились домов, им нечего есть и негде спать. Я всего лишь осталась без сада.

Мистер Джеронимо, садовник, понял, что ему указали его место. Но Александра глянула вниз, на его ботинки.

– Это чудо, – сказала она. – Смотрите, Олдкасл, настоящее чудо: мистер Джеронимо покинул твердую почву и поднялся – можно сказать, в умозрительные сферы.

Мистер Джеронимо хотел бы возразить, что левитация не является ни его заслугой, ни его добровольным выбором, сказать, что счастлив был бы вновь ступить обеими ногами на землю и хорошенько измазать башмаки в грязи. Но у Александры загорелись глаза.

– В вас молния ударила? – спросила она. – Да, конечно же. Во время бури в вас попала молния, вы остались живы, но память напрочь стерло, и вы не помните про молнию. А теперь в вас сидит невыносимо огромный электрический заряд, вот почему вы оторвались от земли.

Это рассуждение заткнуло мистеру Джеронимо рот. Он вник в предложенную ему гипотезу. Да, вероятно. Хотя при отсутствии каких-либо доказательств гипотеза гипотезой и останется. Он никак не мог подобрать ответ, но от него и не требовалось ответа.

– А вот и еще одно чудо, – продолжала Александра, тон ее изменился, стал из повелительного задушевым. – Большую часть жизни я отвергала саму возможность любви, а сейчас поняла, что она ждала меня прямо здесь, дома, возле створчатого окна, топающая ногами, но не могущая соприкоснуться с этой скверной грязью.

С тем она повернулась и растворилась в тенях в глубине дома.

Он страшился ловушки. Такого рода условленные встречи давно уже не значились в его расписании – да и никогда не значились, правду сказать. Управляющий Олдкасл дернул головой, веля следовать за хозяйкой дома. Так мистер Джеронимо понял, что получил приказ, и двинулся внутрь, не ведая, куда подевалась хозяйка – однако одежда, предмет за предметом сбрасываемая ею, указывала путь, и он довольно легко добрался до цели.

Ночь с Александрой Фаринья началась странно. Та же сила, которая препятствовала его стопам соприкоснуться с землей, действовала и в постели, и когда женщина ложилась снизу, Джеронимо зависал над ней, на расстоянии всего лишь в дюйм, но этот зазор явно им обоим мешал. Он подсунул руки ей под ягодицы и попытался подтянуть Александру к себе, но так обоим тоже было неудобно. Однако они вскоре нашли решение: когда он помещался под ней, все шло отменно, пусть его спина и не соприкасалась вплотную с простыней. Его *состояние*, по-видимому, действовало на нее возбуждающе, и это в свою очередь завело его, но едва они закончили акт любви, она, похоже, утратила интерес и быстро заснула, предоставив ему таращиться в темноте на потолок. Когда же он выбрался из постели, чтобы одеться и уйти, оказалось, что расстояние между подошвами и полом заметно увеличилось. За ночь, проведенную с хозяйкой Ла-Инкоэрэнцы, он почти на целый дюйм оторвался от пола.

Он вышел из ее спальни и столкнулся с Олдкаслем, у того в глазах – жажда убийства.

– Не воображай, будто стал первым, – заявил управляющий мистеру Джеронимо, – не воображай, будто в своем возрасте – посмешище! – ты сделался единственной любовью, которую она отыскиала прямо у себя под окном. Жалкий старый гриб! Паразит мерзкий! Плесень, нарост, тупой шип, дурное семя. Ступай прочь и не возвращайся.

Мистер Джеронимо сразу же понял, что Оливер Олдкасл обезумел от безответной любви.

– Моя жена похоронена там, на холме, – твердо возразил он. – Я буду приходить на ее могилу, когда сочту нужным. Тебе придется меня убить, чтобы этому воспрепятствовать, – и как бы раньше я тебя не убил.

– Твой брак закончился прошлой ночью, в спальне миледи, – парировал Оливер Олдкасл, – а кто кого убьет, это мы, черт меня возьми, еще посмотрим.

Были пожары, и здания, знакомые нашим предкам с детства, стояли теперь обуглившиеся, глядя в безжалостный свет запавшими почерневшими глазницами, точно зомби из телесериала. Когда наши предки вышли из убежищ и ринулись на осиротевшие улицы, им показалось, что буря случилась по их вине. Проповедники с телеэкранов называли это Божьей карой за распущенность, но дело было не в том: они и правда чувствовали, по крайней мере некоторые из них, что сотворили нечто, вырвавшееся из-под их власти и теперь, на свободе, свирепствовавшее уже не первый день. Когда земля, вода и воздух поутихли, все равно люди боялись, как бы стихии не разбушевались вновь. Но пока что они возились с ремонтом, кормили голодных, выхаживали старых и оплакивали павшие деревья – им некогда было думать о будущем. Мудрые голоса успокаивали наших предков, советовали не превращать капризы погоды в метафору: это не предостережение и не проклятие. Погода – всего лишь погода. Такой успокоительной информации они и ждали. Они с благодарностью ее приняли. И теперь большинство смотрело не туда, куда следовало, и не заметило, как начались небывалости, перевернувшие все вверх тормашками.

Непоследовательность философов

На сто первый день после великой бури Ибн Рушд, давно позабытый в семейной усыпальнице Кордовы, каким-то образом вступил в общение со своим столь же мертвым оппонентом Газали, который лежал в скромной могиле на краю города Туса, в провинции Хорасан; поначалу они общались с отменной любезностью, потом уже не столь сердечно. Мы понимаем, что это утверждение, которое едва ли возможно подтвердить доказательством, будет воспринято скептически. Тела обоих философов давно истлели, так что выражения «лежал» и «позабытый» сами по себе неточны, а уж мысль, будто какие-то разумные сущности пребывают в месте погребения тел, со всей очевидностью абсурдна. Но когда мы обсуждаем события той странной эпохи, двух лет, восьми месяцев и двадцати восьми ночей, событиям которой посвящен наш отчет, приходится признать, что в ту пору мир сделался абсурдным и законы, издавна считавшиеся фундаментальными принципами реальности, перестали работать, и наши предки остались в растерянности, в полном неведении, какими же будут новые законы. В контексте той поры небывалостей и следует понимать диалог двух покойных философов.

Ибн Рушд во тьме гробницы слышал знакомый женский шепот, прямо в ухо: *Говори.* С нежной ностальгией, приправленной горечью вины, он узнал Дунью, тощую как палка мать его незаконного потомства. Крошечной она была, и вдруг он сообразил, что она никогда при нем не ела. Она вечно страдала от головной боли, все потому, говорил он ей, что мало пьет воды. Она любила красное вино, хотя сразу же пьянела, после второго бокала превращалась совсем в другую женщину – хихикала, размахивала руками, болтала без остановки, перебивая сотрапезника, и непременно хотела сплясать. Она залезла на кухонный стол и, поскольку он отказывался танцевать с ней, обиженно исполняла одиночные па, в которых в равных долях сочетались вызов и радость освобождения. По ночам она цеплялась за него, словно утопая. Она любила его безоглядно, а он ее бросил, вышел из их общего дома и не обернулся. Теперь, в сырой тьме крошащейся каменной гробницы, она вернулась – преследовать его в могиле.

Я мертв? без слов спросил он явившийся призрак. Слов не требовалось. Да и губ, чтобы слепить слова, не было. Да, ответила она, мертв уже много столетий. Я разбудила тебя, чтобы посмотреть, сожалеешь ли ты. Я разбудила тебя, чтобы посмотреть, сможешь ли ты после тысячелетнего почти отдыха победить своего врага. Я разбудила тебя, чтобы посмотреть, готов ли ты дать свое имя детям своих детей. Здесь, в могиле, я могу сказать тебе правду: я – твоя Дунья, но я также – джинния, принцесса джиннов. Щели между мирами открываются вновь, и я смогла вернуться, чтобы повидать тебя.

Теперь он наконец постиг ее нечеловеческую природу и понял, почему порой ему казалось, будто ее тело слегка размывается по краям, словно нарисовано мягким углем – или дымом. Он-то решил, что видит нечетко, потому что глаза стали плохи, и больше об этом не думал, но раз она пришла и шепчет ему в могиле – раз она имеет власть пробудить его в смерти – значит, она действительно принадлежит к миру духов, миру дыма и магии. Не еврейка, не смевавшая назвать себя еврейкой, но джинн женского пола, джинния, которая не смела признаться в своем неземном происхождении. В таком случае, пусть он ее предал, но она-то его обманула. Он не сердится на это, отметил он, но эта информация не показалась ему особенно важной. Для человеческого гнева давно миновал срок. Но она вправе гневаться. А гнев джиннии страшен для человека.

Чего ты хочешь? спросил он. Это неверный вопрос, возразила она. Следует спросить: чего хочешь *ты*? Ты не в силах исполнить мои желания, но я, может быть, если захочу, смогу исполнить твои. Так это устроено. Впрочем, это мы обсудим позже. Прямо сейчас твой враг очнулся. Его джинн отыскал его, как я отыскала тебя. Джинн Газали? Кто он? спросил он.

Могущественнейший из джиннов, ответила она. Глупец, лишенный воображения, и в мудрости его никто никогда не подозревал, но свирепой силы – в преизбытке. Не хочу даже произносить его имя. А твой Газали, как мне кажется, человек узкой души и не склонный прощать. Пуританин, враг удовольствий, желающий обратить любую радость в прах.

Даже в могиле от этих слов его пробрал холод. Ибн Рушд почувствовал, как что-то зашевелилось во тьме, в параллельном мире, очень далеко, совсем близко.

– Газали, – пробормотал он беззвучно, – неужели это ты?

– Мало того, что ты пытался разрушить мой труд при жизни, – откликнулся тот, другой. – Теперь ты, значит, возомнил, что сладишь со мной после смерти?

Ибн Рушд стянул воедино ошметки своего бытия.

– Время и расстояние более не разделяют нас, – приветствовал он своего оппонента, – и мы можем обсудить все вопросы как подобает, соблюдая любезность по отношению к человеку и беспощадность – к мысли.

– Я убедился, – ответил Газали (судя по прононсу, рот его был забит червями и грязью), – что стоит применить некоторую долю беспощадности к человеку, и его мысль сразу же совпадет с моей.

– В любом случае, – напомнил Ибн Рушд, – мы оба уже по ту сторону физического воздействия или злодейства, что бы ты ни предпочитал.

– Это верно, – сказал Газали, – хотя, добавлю, прискорбно. Хорошо же, приступай.

– Рассмотрим человечество как единого человека, – предложил Ибн Рушд. – Дитя ничего не смыслит и, не имея знаний, цепляется за веру. Битву между верой и разумом можно считать затянувшимся отрочеством, а торжество разума станет совершеннолетием человечества. Из этого не следует, что Бога нет, но Он, как гордый своим потомством родитель, ждет того дня, когда Его отпрыск сможет стоять на собственных ногах, искать свой собственный путь в мир, освободится от всякой зависимости.

– До тех пор, пока ты строишь аргументацию от Бога, – ответил Газали, – до тех пор, пока не оставишь жалкие попытки примирить сакральное с рациональным, тебе меня не одолеть. Признал бы сразу, что ты – неверующий, и с того бы мы и начали. Посмотри, каково твое потомство – безбожная грязь Запада и Востока! Твои слова созвучны лишь умам кяфиров, приверженцы истины тебя позабыли. Приверженцы истины знают: детские погремушки человечества – как раз логика и наука. Вера – наш дар от Бога, а разум – подростковый бунт против нее. Повзрослев, мы всецело обращаемся к вере, для которой предназначены от рождения.

– Ты увидишь, как со временем, – заговорил Ибн Рушд, – сама религия в итоге и вынудит людей отвернуться от Бога. Набожные – худшие Его адвокаты. Пусть это займет тысячу один год, но в конце концов религия истает, и только тогда мы заживем в Божьей истине.

– Ладно, – сказал Газали, – хорошо. Наконец-то, отец множества ублюдков, ты заговорил, как подобает кощуннику вроде тебя.

И он обратился к вопросам эсхатологии, к его любимой ныне, как он сообщил, теме, и долго распространялся о конце времен, с восторгом, удивившим и насторожившим Ибн Рушда. Наконец младший вопреки требованиям этикета перебил старшего.

– Похоже, превратившись в прах, хотя и странным образом разумный, ты только и мечтаешь увидеть, как все творение отправится в могилу следом.

– И о том мечтает каждый верующий, – ответил Газали, – ибо то, что живущие именуют жизнью, жалкая безделка по сравнению с жизнью грядущей.

Газали считает, что мир движется к своему концу, сказал Ибн Рушд Дунье во тьме. Он считает, что Бог вознамерился уничтожить свое творение – неторопливо, загадочно, без объяснений. Запутает человека так, что тот сам истребит себя. Газали взирает на эту перспективу бестрепетно, и не только потому, что сам уже мертв: для него земная жизнь – лишь преддверие или коридор. Вечность – вот его реальный мир. Я спросил, почему же в таком случае вечная

жизнь еще не началась для тебя или же это и есть она, сознание, длящееся в безразличной пустоте, по большей части сплошная скука. Он ответил: пути Господни неисповедимы, и если Ему угодно, чтобы я терпеливо ждал, да будет по воле Его. Сам Газали не имеет больше собственной воли, он желает лишь служить Богу. Мне кажется, он – идиот. Слишком резко? Да, он великий человек, но притом идиот. А ты? – негромко спросила она. Сохранились ли у тебя желания, появились ли новые, каких не было прежде? Он припомнил, как она опускала голову ему на плечо и он ладонью обхватывал ее затылок. Пора голов и ладоней, плеч и совместной постели для них миновала. Жизнь вне тела, сказал он, не стоит того, чтобы жить.

Если мой враг прав, сказал он ей, то его Бог – злобный Бог, для которого жизнь живого существа не имеет цены, и я бы хотел, чтобы дети моих детей знали это и знали о моей враждебности такому Богу, последовали за мной и противостояли такому Богу и разрушили Его план. Так значит, теперь ты признаешь свое потомство, шепнула она. Я признаю его, сказал он, и прошу у тебя прощения за то, что не сделал этого раньше. Дуньязат – мой род, и я его пра-родитель. И твое желание, мягко настаивала она, чтобы они узнали о тебе, такова твоя воля? И о том, как я любил тебя, сказал он. Вооружившись этим знанием, они еще смогут спасти мир.

Спи, сказала она, целуя воздух там, где некогда покоилась его щека. Мне пора. Обычно я не слежу за тем, как проходит время, но сейчас и впрямь времени мало.

Существование джиннов всегда ставило в тупик философов, рассуждающих об этике. Если делами людей управляют благие или вредоносные духи, если добро и зло находятся не внутри человека, а вне, откуда же взять определение человека этического? Вопрос, как поступать правильно, как нет, сделался до невозможности запутанным. Некоторых философов это устраивало, по их мнению, это в точности отражало моральное смятение эпохи и кроме того – счастливый побочный эффект – обеспечивало специалистов по этике неисчерпаемой работой.

Так или иначе, говорят, в старые дни, до разделения Двух миров, у каждого имелся собственный джинн или джинния, шептавшие на ухо, склонявшие к добрым или злым делам. Как джинны выбирали человека для симбиоза, почему настолько интересовались нами – остается загадкой. Может быть, им просто нечем было особо заняться. Джинны по большей части индивидуалисты, даже анархисты, прислушиваются только к собственным побуждениям, плевать хотели на социум и групповую деятельность. Но есть и другие истории: о войнах между враждебными армиями джиннов, о смертоносных конфликтах, до основания сотрясших мир джиннов – если это правда, возможно, оттого-то и сократилась численность этих созданий, и они надолго покинули наши прекрасные места обитания. Немало существует сказаний о джиннах-колдунах, о Великих Ифритах, несшихся по небу на гигантских летающих сосудах, наносивших страшные, смертельные даже удары меньшим духам – хотя порой говорят и противное, дескать, джинны бессмертны. Но это неверно, хоть и правда, что убить джинна трудно, только джинн или джинния могут убить подобного себе. Об этом речь пойдет дальше. А пока можно сказать вот что: джинны, вмешивавшиеся в дела людей, веселились до упаду, сталкивая одного человека с другим, того обогащая, этого превращая в осла, завладевая людьми и сводя их с ума, действуя изнутри головы, они помогали истинной любви или возводили на ее пути препятствия, но всегда избегали близкого общения с людьми, если только не оказывались пленниками волшебной лампы, да и тогда терпели это общение, очевидно, против своей воли.

Дунья была исключением среди джинний. Она явилась на землю и влюбилась здесь так сильно, что не могла оставить возлюбленного покоиться с миром даже восемь с половиной веков спустя. Чтобы влюбиться, нужно обладать сердцем и тем, что мы называем душой и, несомненно, требуется еще целый ряд черт и свойств, которые мы, люди, именуем *характером*. Но джинны – по крайней мере большинство – как и подобает существам из пламени и дыма, бессердечны, бездушны и выше человеческого характера (или ниже). Это сущности – добрые, злые, нежные, проказливые, тиранические, сдержанные, могущественные, капризные, ковар-

ные, великие. Дунья, возлюбленная Ибн Рушда, видимо, так долго прожила среди людей под маской, что впитала идею *характера* и проявляла некоторые его признаки. Можно сказать, она заразилась *характером* от людского рода, как дети заражаются ветрянкой или корью. И тогда она полюбила саму любовь, полюбила свою способность любить, полюбила самоотверженность любви, жертвенность, эротику, радость. Она научилась любить возлюбленного в себе и себя в нем, но более того: она полюбила весь человеческий род за его способность любить, а потом и за другие чувства, полюбила мужчин и женщин, знающих страх и ярость, унижение и торжество. Если б это было возможно, она бы, пожалуй, предпочла стать человеком, но ее природа была такова, какова она была, и Дунья не могла от нее отречься. После того как Ибн Рушд покинул ее и – да, *поверг ее в печаль*, она *чахла* и *скорбела* и сама испугалась такого очеловечивания. А однажды, незадолго до того, как щели между мирами сомкнулись, она исчезла. Но и сотни лет во дворце в мире джиннов, и бесконечный разврат, который в Волшебной стране составляет повседневную норму, не исцелили ее, и вот, когда щели раскрылись вновь, она вернулась и восстановила утраченные связи. Возлюбленный из могилы просил ее воссоединить их рассеянный род и помочь ему отразить надвигавшийся на мир катаклизм. Да, она сделает это, пообещала Дунья, и умчалась выполнять поручение.

К несчастью, она была не единственной обительницей мира джиннов, кому вздумалось спуститься к людям – и далеко не у всех были на уме добрые дела.

Небывалости

Герой Натараджа движется-кружится – naach – по улице, подобный танцующему богу Шиве, повелителю танца, который одним прыжком порождает мир бытия. Натараджа прекрасный-юный презирает старичье, смеется над всеми этими хромыми плоскостопыми массивными-полными – bhari – телами. Но девушки на него и не глянут. Не ведают о его суперсиле, Творцом и Разрушителем Вселенной пренебрегают. Но это окей, туп-топ, theek thaak. Он переодет. Он явился в облике бухгалтера. Бухгалтер Джинendra, идущий за бакалейным товаром в лавочку Субзи Манди на Джексон-Хайтс, Ку-шинз. Джинendra Капур, он же Кларк Кент – темнокожий Супермен. Погодите, вот он сорвет с себя одежды, йаар. Тут-то поглядят-устанутся – dekho – на него во все глаза, тут-то они его заметят. А до тех пор – лишь намек на тайную мощь, лишь перепляс по Тридцать Седьмой авеню, словно тот царь из Деш, из старой страны, шахиншах, или махараджа, или кто там. Натараджа танцует под песнь бьюльбюля. Таков он и точка. Диль-ка-Шехзада, Владыка Сердец, валет червовый.

Не было никакого Героя Натараджи, лишь вымышленный двойник юного Джимми Капура, мечтавшего рисовать комиксы. Суперсила Натараджи заключалась в танце. Когда он срывал с себя одежды, две руки его умножались дважды и у него появлялось четыре лица, спереди, сзади, по бокам, и третий глаз посреди переднего лба, и когда он начинал танцевать бхангру или демонстрировать отработанные в диско движения – он же, в конце-то концов, жил в Квинсе, – то каждым взмахом формировал реальность, творя или уничтожая. Он мог вырастить посреди улицы дерево или преподнести себе «мерседес» с откидным верхом или накормить голодных, но мог и сносить дома и разносить в мелкие куски скверных парней. Загадка для Джимми: почему Натараджа не причислен к божественному пантеону вместе с Песочным Человеком, Стражами, Темным Рыцарем, Танкисткой, Карателем, Невидимками, Судьей Дреддом и прочими героями «Марвел», «Ди-Си» и «Титана». Увы, Натараджа никак не взмывал к высотам славы, и порой, в плохие минуты, юному художнику начинало казаться, что он в компании своего кузена навеки прикован к бухгалтерскому креслу на Рузвельт-авеню. Он выкладывал эпизоды из жизни Героя Натараджи в интернете, но крупная рыба не клевала. А потом, жаркой ночью – через сто одну ночь после бури, хотя он-то не подсчитывал – когда в окно ему светила красная луна, он вдруг проснулся в испуге. Кто-то в его комнате. Кто-то... огромный. Когда глаза привыкли к темноте, Джимми увидел, что дальняя от кровати стена исчезла целиком, вместо нее – вихрь черного дыма, а посреди вихря – что-то, похожее на черный туннель, уходящий в неведомую бездну. Разглядеть туннель отчетливо не удавалось, потому что путь преграждало гигантское многоголовое, многорукое и многоногое существо, пытавшееся втиснуть свои многочисленные конечности в тесную спальню Джимми – похоже, оно собиралось снести уцелевшие стены и громко возмущалось. Судя по облику этого существа, оно – это – не было даже создано из плоти и крови. Оно казалось *нарисованным, иллюстрацией*, и Джимми Капур, содрогнувшись, узнал собственный стиль, в духе Фрэнка Миллера (так ему хотелось думать), вселенная чуть послабее, чем у Стэна Ли (это он признавал), определенно постлихтенштейнианская манера (это в компании снобов, в том числе в обществе самого себя).

– Ты ожил? – спросил он.

Ни шутка, ни глубокая мысль не шли на ум. Голос Героя Натараджи, когда он – оно – заговорил, прозвучал знакомо, он где-то слышал уже этот голос, рычащий, многоглоточный, разносящийся, как в эхо-камере голос божественного авторитета, беспощадности и гнева, точный негатив собственного голоса Джимми, бедолаги, терзаемого страхами, неуверенностью в себе, неопределенностью. Единственный правильный ответ на такой голос – трепет. Джимми Капур дал правильный ответ.

Мать твааю нет места в этой зале надо сделать себя маленькие, chhota с нахрен муравья или я сорву крышу с твоего жалкого дома-ghar. Так, лучше. Вишь меня? Слышь меня? Раз-два-три-четыре руки, четыре-три-два-одно лицо, третий глаз зырит прямо в твою обмочившуюся душонку. Нет, нет, прошенья просим, уважение надо выказать, ты же мой творец, а, точно так? ХА ХА ХА ХА ХА. Великий Натараджа создан воображением бухгалтера из Квишинса, словно он не танцевал с Начала Времен. С тех самых пор, точности для, когда я самолично вытанцевал Время и Пространство. ХА ХА ХА ХА ХА. Ты думал, что ты меня вызвал? Ты думал, ты волшебник? ХА ХА ХА ХА ХА. Или все еще думаешь, это сон? Нет, баба, хренушки! Ты только что проснулся. И я тоже. Вернулся после восьми или девяти веков отсутствия. Много-много снов.

Джимми Капур трясся в ужасе.

– Ка-а-ак ты по-попал сюда? – заикался он. – В-в-в мою к-к-комнату?

– Филлим «Охотники за привидениями» видал? – вопросом на вопрос ответил Герой Натараджа. – *Вот точно так оно.*

Ну да, сообразил Джимми. Один из его самых любимых фильмов, и голос Натараджи похож на голос шумерского бога-разрушителя, Гозера Гозериана, когда тот говорит изнутри Сигурни Уивер. Гозер с индийским акцентом.

Портал разверзся. Граница между тем, что воображатели навоображали и что воображаемые желали, стала дырявой, как Мексика – США, и мы все, кто прежде был заперт в Фантомной Зоне, можем теперь быстро пройти через кротовые норы и хлопнуться сюда, точно генерал Зод с его суперсилой. Так много хочет прийти. Скоро мы завладеем. Сто один процент. Забудь об этом.

Натараджа замерцал, затуманился. Это его не обрадовало. *Портаал еще не фунициикирует эффективно. Окей. Бай-бай пока. Но будь уверен, я возвращусь.* С тем он пропал, а Джимми Капур, оставшись в одиночестве, широко раскрытыми глазами следил за тем, как черные облака спиралью втягиваются внутрь темного туннеля, пока все не исчезло. Восстановилась его спальня, фотографии Дона Ван Влита, он же Капитан Бычье Сердце, Скотта Пилигрима, Лу Рида, распавшейся бруклинской хип-хоп-группы «Дас Расист» и фаустианского героя комикса Спауна так и оставались прикнопленными к пробковой плите, будто и не спутешествовали в пятое измерение и обратно, и только Ребекка Ромейн, красотка с большого постера в роли синегокожего метаморфа Рейвен Даркхолм (Мистик), выглядела несколько сбивтой с толку, словно хотела спросить: кто это самовольно поменял мой облик, бывают же наглецы, я тут одна решаю, когда и во что мне превратиться.

– Теперь *sabkuch* меняется, Мистик, – сообщил Джимми синему существу на постере. – То есть – меняется все. Похоже, весь мир меняет обличье. Вот это да!

Джимми Капур первым обнаружил кротовую нору и после этого, как он верно догадался, весь мир начал менять обличье. Но в тот остаток дней старого мира, мира, каким он был – мы теперь это знаем – до небывалостей, люди не готовы были признать подлинность новых явлений. Матушка Джимми отмахнулась от его рассказней о ночи преображения. Миссис Капур страдала волчанкой и с постели вставала только покормить экзотических птиц – пав, туканов, уток. Их она упрямо растила в расчете на продажу и прибыль на бетонном пустыре позади дома, на площадке, где что-то давным-давно разрушили, а нового не построили. Четырнадцать лет она занималась этим, и никто ей не препятствовал, но птиц воровали, а иные птахи зимой замерзали насмерть. Уток редкой породы сперли, и кто-то скушал их на обед. Эму рухнул в ознобе и конец ему. Миссис Капур принимала все без жалоб – как свидетельство общей жестокости мира и собственной несчастной кармы. Держа в руках только что снесенное страусихой яйцо, она хорошенько отчитала сына, который вечно смешивал реальность и сновидения.

– Необычные вещи – всегда неправда, – заявила она, а тукан, сидя на ее плече, гладил клювом ей шею. – Летящие тарелки всегда оказываются подделкой, ну или светом от обычных огней, так вот. Являлись бы сюда люди из других миров, так с чего бы им показываться только дурным хиппи в пустыне? Почему бы не приземлиться в Джей-Эф-Кей, как всем нормальным? Бог, у которого столько рук, ног и всего, явился к тебе в комнату прежде, чем к президенту в Овальный кабинет? С ума не сходи.

К тому времени, как она закончила свою речь, Джимми усомнился в точности собственной памяти. Может, и правда ему приснился кошмар. Может, он окончательно свихнулся, башкой поехал. Утром ведь никаких следов от Героя Натараджи не осталось, так? Мебель с места не стронута, чашка из-под кофе никуда не закатилась. Фотографии целы, не порваны. Стена спальни прочна и солидна. Как всегда, недужная матушка была права.

Отец Джимми упорхнул пару лет тому назад с птишкой-секретаршей, а Джимми пока что не заработал себе на отдельное жилье. И девушки у него не было. Хворая мать мечтала, как он женится на тощей-тощей девушке с большим носом, носом в книжке, на университетской девочке, прекрасные манеры снаружи, подлое поведение внутри, знаем мы таких девиц, нет уж, спасибо, думал он, лучше останусь один, пока не нападу на золотую жилу, а тогда берегитесь, телочки-мажорки. Высокие и красивые девушки обитали в Нью-Йорке, а красивые, но невысокие – в Лос-Анджелесе, и Джимми вполне устраивала жизнь на побережье больших сисек, когда-нибудь и на его долю достанется такая с большими сиськами, но пока что никакой не было. Нет своей девушки и нет. Черт с ними. Ладно. Пока что он сидел в офисе и, как всегда, пререкался с кузеном Нормалом, главой бухгалтерской фирмы.

Какая мерзость: кузен Нормал так жаждал нормальности, что даже имя изменил и звался теперь Нормал. А еще мерзче: Нормал-Нормал так плохо владел своим нормальным эмигрантским, что думал, будто «имя» – это «ник». Джимми толковал ему, «ник» – прозвище в Сети. Подпись под граффити на грузовом поезде. Нормал и ухом не вел. Смотри, вот Гаутама Чопра, сын слааавного Дипака, говорил Нормал, он сменял свой ник на «Готэм», всем сердцем хотел быть ньюйоркцем. И баскетболисты тоже: мистер Джонсон решил стать Мэджиком, верно? А мистер Рон, или Артист, или как его – нечего меня поправлять – хорошо, мистер Артиист решил зваться «Миру мир». А еще те актрисы, знаменитые в прошлые времена. Димпл и Симпл, если такие ники годятся, о чем ты говоришь? Я-то, я просто хочу быть Нормал, и что здесь не так? Нормал по имени, нормальный по сути. Готэм Чопра. Симпл Кападия. Мэджик Джонсон. Нормал Капур. Одно на одно. Ты бы воткнулся в цифры и не брал себе в голову мечты, вот оно как. Твоя добрая матушка рассказала мне твой сон. Шива Натараджа у тебя в спальне, как нарисовал Джинендра К. Давай-давай так и дальше, почему нет? Давай-давай и дойдешь до беды. Хочешь жить? Жениться? Не журиться? Сфокусируйся на цифрах. О матери позаботься. Хватит мечтать. Проснись – вот реальность. Так живет Нормал. И ты лучше живи, как он.

На улице после работы он попал в Хэллоуин. Дети, оркестры и все прочее, парад-маскарад. Он на хэллоуинских вечеринках не блистал, никогда не получалось всей душой предаться этой радости – разодеться повелителем зомби, и отчасти он признавался самому себе, что брюзгой был из-за отсутствия пары, эта его брюзгливость была и последствием, и причиной такого отсутствия. Ныне, когда все его мысли были заняты вчерашним полуночным явлением, он совершенно забыл про Хэллоуин. Джимми брел по улицам среди мертвецов, проституток с просто-титками, готовясь встретиться с недугами своей матери, с ее попрекающими речами, ковыляющей походкой, какой она обходила птичьи кормушки. Я сам сделаю, мама, уговаривал он, но она слабо покачивала головой: нет, сынок, на что я гожусь, кроме как поддерживать жизнь в моих птицах и ждать смерти, обычные ее слова, чуточку более макабрические ныне, учитывая контекст, когда мертвые поднимаются из могил и танцуют свой данс макабр, в ночь скелетов, с лицами, закрытыми по-монашески капюшонами, с косой Смерти в

руке – в другой руке бутылка водки, и они пьют сквозь прорезь маски, разверстой челюстью черепа. Он прошел мимо женщины с потрясающим гримом на лице – сверху вниз нарисована молния, а на уровне рта она «расстегнута», и выглядит кровавое мясо без кожи, всю дорогу, на подбородке и шее. Ты прям из кожи вон вылезла, дорогуша, подумал он, очень старалась, но вряд ли кто захочет тебя сегодня поцеловать. Его, правда, тоже никто не хотел целовать, но он спешил на встречу с супергероем-тире-богом. Сегодня, твердил он себе, и с ужасом, и с торжеством. Сегодня ночью увидим, кто замечтался, а кто видит то, что есть.

И точно, в полночь лица Капитана Бычье Сердце, Ребекки-Мистик и прочих поглотила воронка черной тучи, которая, медленно вращаясь, раскрыла и обнажила туннель в какое-то бесконечно странное пространство. Какие-то соображения – хотя Джимми предполагал, что сверхъестественные создания не подчиняются рациональным соображениям, логика относится к числу тех вещей, которыми они пренебрегают, над которыми смеются, которые жаждут проверить – так или иначе какие-то соображения побудили Героя Натараджу в этот раз воздержаться от визита в Квинс. И опять-таки некие соображения – хотя позднее сам Джимми признается, что менее всего в принятом решении было логики – побудили юнца, мечтавшего сочинять комиксы, медленно двинуться в сторону туманной спирали и пугливо, словно проверяя температуру воды в ванне, сунуть пальцы в черную дыру в самой ее сердцевине.

Теперь, когда мы знаем историю Войны миров, того основного события, к которому небывалости служили прологом, сверхъестественного катаклизма, погубившего многих наших предков, остается лишь удивиться отваге юного Джинендры Капура перед лицом неведомого – устрашающей тайны. Свалиться в кроличью нору – случайность, но сквозь зеркало Алиса прошла по своей доброй воле, и потому это более храбрый поступок. Так обстояло дело и с Джимми К. Первое появление кротовей норы или вторжение в его спальню гигантского ифрита, темного джинна, принявшего облик Героя Натараджи, произошло не по его желанию. Но во вторую ночь он сам сделал выбор. Такие люди, как Джимми, понадобились в скоро начавшейся войне.

Когда Джимми Капур сунул руку в тоннель, как он рассказывал затем матери и кузену Нормалу, множество событий произошло с *ошеломляющей быстротой*. Первым делом его засосало в то пространство, где уже не действовали законы Вселенной, и, оказавшись в другом месте, он полностью утратил представление о прежнем своем месте – в том месте, где он очутился, сама идея *места* утратила значение и сменилась *скоростью*. Вселенная чистой и стремительной скорости не нуждалась в точке отсчета – ни большого взрыва, ни мифа о творении. Здесь действовала одна лишь сила, так называемая гравитация, под воздействием которой ускорение воспринималось как вес. Если бы тут существовало время, за миллисекунду Джимми сплющило бы в ничто, но в этом времени без времени ему хватило времени сообразить, что он проник в систему сообщения с миром, скрытым за покровом реальности, в подкорковую, подземную транспортную сеть, располагающуюся непосредственно под кожей известного ему мира, и тут существа вроде темного джинна и мало ли кто или что еще носились на сверхсветовых скоростях по не ведающей законов стране, которую и *страной*-то назвать было невозможно. Ему достало времени, чтобы выстроить гипотезу: по какой-то алогичной логике эта подземная железная дорога Волшебной страны была надолго отделена от «твердой земли», но сейчас вновь прорывается в измерение реальности, чтобы творить среди людей чудеса или хаос.

А может быть, для таких размышлений времени все же не было, и они сформировались у него в уме уже после того, как он был спасен, потому что в том туннеле завивавшегося спиралью черного дыма он почувствовал, как что-то рванулось навстречу ему – кто-то или что-то, чего он не видел, не слышал, тем более не мог назвать, – и его понесло задом наперед обратно в спальню, пижаму сорвало, так что он вынужден был голыми руками прикрывать свою наготу от представшей перед ним женщины, красивой молодой женщины, одетой в небрежную уни-

форму своих юных ровесниц – обтягивающие черные джинсы, черная майка, высокие зашнурованные ботинки, а сама тощая – тощее, чем девушка, которую его мать намечтала ему в жены, но с куда более симпатичным носом, с такой девушкой он бы, конечно, хотел встречаться, пусть даже она вовсе не была сисястой, он понял вдруг, что пышные формы его не так уж волнуют, но при всей ее тощей (спичка, да и только) красоте, он видел, что она никак не его поля ягода, *забудь и думать об этом, Джимми, не ставь себя в дурацкое положение, спокойнее держись, хладнокровнее.* Эта самая девушка спасла его из вращающейся воронки, она, очевидно, принадлежала иному миру, фея или пери из Перистана, и она заговорила с ним. То, что творилось с Джимми – от всего этого голова чуть не треснула. Вау, дааа. Нет слов. Просто... вааау.

Семейной жизни у джиннов практически нет (зато есть секс. Они все время занимаются сексом). У джиннов и джинний появляются дети, но цепочки поколений тянутся так долго, что узы между ними зачастую распадаются. Отцы-джинны и дочери-джиннии редко бывают (как мы убедимся далее) в хороших отношениях. Любовь в мире джиннов – большая редкость (зато бесперебойный секс!). Джинны, как нам известно, способны на низшие эмоции – гнев, обиду, мстительность, собственнические чувства, похоть (в особенности похоть) и даже могут питать своего рода привязанность, но высшие и благородные чувства – самоотверженность, преданность и тому подобное – им не даются. В этом, как и во многом другом, Дунья оказалась исключением.

С течением лет джинны почти не меняются. Их существование сводится в чистом виде к бытию без становления. По этой причине жизнь в мире джиннов бывает весьма скучной (помимо секса). Существование как таковое – пассивное, неизменное, вневременное, вечное и скучное (если бы не постоянный секс). Вот почему джиннов всегда привлекал человеческий мир: наше бытие – это *действие*,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.